

## Необходимое вступление

Тридцать лет назад, в ноябре 1989 года, я возвращался поездом из Ленинграда в родной Иркутск. В тот год я поступил в ленинградскую аспирантуру Института Мощного Радиостроения. Успешно сдал вступительные экзамены по математической теории надёжности, марксистско-ленинской философии, английскому языку. И был зачислен.

Настроение у меня было радостное, а лучше сказать — предвкушающее. Я был полон сил и планов на будущее, которое рисовалось мне в самых радужных красках. В самом разгаре была перестройка. Михаил Горбачёв своими речами очаровал издавшее виды население Советского Союза, придал нам всем сил и уверенности, указал дальнейший путь и внушил надежды. Всё это было настолько интересно и ново, что я уже подумывал о вступлении в Коммунистическую партию Советского Союза (в которой числилось на тот момент больше двадцати миллионов смертных душ), чтобы лично способствовать дальнейшему прогрессу и выпрямлению того, что было искривлено и исковеркано задолго до моего рождения.

И вот я еду в скором поезде, лежу на верхней полке и с радостной улыбкой на лице смотрю сквозь мутное окно на мелькающие вдаль холмы и перелески, на жёлтые станционные будки и серые столбы с чёрными провисшими проводами, на кучи грязного снега внизу и мутненькое небо сверху. Поезд мчится, вагон плавно покачивается, колёса: стук-стук-стук, стук-стук-стук, стук-стук-стук... Это стремительное движение наполняет душу восторгом. Ты словно бы летишь к прекрасной цели — чему-то неслыханному и невероятному, к неведомому счастью, которое ждёт исключительно тебя — там, в сияющей дали!

В 1989 году мне было двадцать восемь лет. Это многое объясняет.

Однако же, не всем в жизни выпадает такое счастье. В том же вагоне (и в том же купе) я познакомился с человеком, который в возрасте двадцати восьми лет был арестован и предан суду — без всякой вины со своей стороны. В 1938 году он получил десятилетний срок и отбыл в места не столь отдалённые, где был судим повторно и приговорён уже к смертной казни, которой чудом избежал. Человек этот ехал из Челябинска в Красноярск: в этом городе он учительствовал до ареста. После Красноярска он планировал побывать в Канске, где провёл шесть месяцев в следственной тюрьме, и где его нещадно били и ломали, а потом «сунули десятку» и отправили по этапу туда, куда, по меткому выражению простого русского народа, «Макар телят не гонял».

Дед мой — Лаптев Константин Фёдорович — был расстрелян в Иркутске как враг народа в том же 1938 году. А в Канске жила моя племянница (дочь старшего брата). К тому же, оба эти города — Красноярск и Канск — были ближайшими соседями Иркутска. Каких-то тыща километров — и ты там! Пустяки по нашим меркам.

Общие темы у нас нашлись. Мы разговорились.

Хотя, разговором это назвать сложно. Говорил в основном попутчик, а я внимательно слушал, изредка кивая и делая круглые глаза. Не знаю, чем я заслужил его доверие. Быть может, он увидел во мне самого себя — таким, каким он был до ареста. Родился он, к слову сказать, в 1909 году, а на момент нашего знакомства ему было восемьдесят лет. Но выглядел он моложе: невысокий, плотный, коренастый, с неторопливыми движениями и уверенной повадкой. При разговоре смотрел собеседнику в глаза, но не нахально и пристально, а спокойно и словно что-то припоминая. Я сразу почувствовал себя с ним легко. Как-то понял вдруг, что он не обидчив, не привередлив, что всё понимает, и с ним можно говорить запросто — как со старым добрым знакомым и мудрым человеком. К тому же, как я уже сказал, я тогда был почти счастлив, и он, конечно же, сразу это подметил. Вообще, люди, побывавшие в неволе, очень проницательны. А те из них, кто прожил хотя бы несколько минут в твёрдой уверенности в скорой и неизбежной смерти — про таких я даже не знаю, что и сказать. Это выше моего разума.

Попутчик мой провёл в бараке смертников несколько суток. Эти несколько суток он прожил на знаменитой «Серпантинке» — расстрельной колымской тюрьме, где за 10 месяцев 1938 года было убито больше тридцати тысяч человек (так сказано в официальных документах, а сколько людей там было убито на самом деле — этого никто не знает до сих пор; выживших свидетелей этих страшных событий уже нет на этом свете, а все архивы до сих пор находятся под спудом).

Про то, что с ним случилось, и как он попал на «Серпантинку», Илья Фёдорович (так звали моего попутчика) рассказывал очень толково и обстоятельно, но с видимым равнодушием, словно бы речь шла о другом человеке. Только взгляд его иногда туманился, а сам он отворачивался и смотрел в угол, голос его становился глухим, безжизненным. Он говорил и словно бы не верил тому, что всё это было с ним на самом деле.

Мы проговорили почти сутки. В купе нас было двое, никто нам не мешал. И мы никому не мешали. Только проводница иногда заглядывала и предлагала чаю, сама при этом зыркала глазами, проверяя, всё ли в порядке и не запрятана ли где бутылка «Столичной». Но ни «Столичной», ни вермута у нас не было. Мы оба были в трезвом уме и здравой памяти. А иначе я бы ничего не запомнил и не написал бы теперь эту повесть. Я должен был сделать это раньше — по горячим следам, так сказать. Но всё что-то мешало. То диссертация, которую я вымучивал долгие пять лет. То вдруг Советский Союз распался на шестнадцать неравных долей, а сам я остался без работы, без семьи и без каких бы то ни было перспектив...

Кто жил в те годы, тот помнит это странное и жутковатое время. Всем нам было тогда не до высоких материй, не до воспоминаний, не до сочувствия. Быть бы живу самому — вот и вся премудрость!

Да, в девяностые годы нам было очень тяжело. Но это не идёт ни в какое сравнение с тем, что пришлось вынести нашим отцам и дедам в тридцатые-сороковые.

И теперь я думаю: зачем Илья Фёдорович рассказал мне историю своей жизни? Он ни о чём не просил меня. Не искал сочувствия. Ни к чему не призывал и не агитировал. Просто рассказывал всё, как было. И точка.

В Красноярске он сошёл с поезда, а я поехал дальше. Больше мы с ним никогда не виделись.

Его наверняка уже нет в живых. Но я его помню. Сказанные им слова запечатлелись в моей памяти. И что странно: чем дальше по времени отходит этот ночной разговор, тем отчётливее я его помню. Видно, правду говорят, что «большое видится на расстоянии». Со временем шелуха отпадает, а остаётся главное — такое, чего нельзя забывать.

Привожу рассказ Ильи Фёдоровича таким, как я его запомнил — во всей его незатейливости и жути.

## Рассказ Ильи Фёдоровича Таратина

— Арестовали меня в ночь с пятого на шестое ноября 1937 года. В тот день шла подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. Мы, учителя поселковой школы, ходили по своим участкам, знакомили избирателей с биографией Михаила Ивановича Калинина, разъясняли, как будут проходить выборы в Верховный совет. Люди плохо разбирались во всех тонкостях. Было много вопросов. Мы терпеливо объясняли.

Домой в тот день я пришёл поздно. Запомнилось вечернее багровое небо с редкими облаками. Обычно так бывает перед бурей.

Дети уже спали. У меня двое сыновей было — Лёва восьми лет и годовалый Гера. Жена, как и я, — учительница младших классов.

Мы быстро поужинали и легли спать.

Сквозь сон слышу — кто-то стучится. Я быстро поднялся, зажёл свет, иду в сени открывать. А они — милиционер Куропаткин и председатель сельсовета Жданов — уже вошли. Я, видно, забыл запереть дверь с вечера. Тогда у многих вообще замков не было. А чего бояться? Никто не воровал, не то, что сейчас.

А эти двое, лишнего слова не говоря, прошли в комнату. Милиционер показывает мне ордер на обыск. Стали обыскивать, заглядывать под кровать, в печку. Потребовали открыть сундук. Перевернули всё вверх дном, но ничего не нашли. На столе лежал фотоальбом. Милиционер полистал его и положил в портфель. Спросил мои документы. Я достал паспорт, военный билет, профсоюзный билет, извещение из красноярского учительского института, в котором мне было предписано явиться 9 ноября для получения диплома. Всё это он положил в портфель, потом сел и стал составлять описание изъятого имущества. Закончив, дал жене на подпись. А мне предъявил второй ордер — на арест. Жена сильно разволновалась, чуть не упала в обморок, стала будить детей. Я её остановил. Спрашиваю милиционера: «За что арестовываете?» А он отвечает: «Там узнаете. Собирайтесь».

Я собрался, поцеловал жену и детей, молча вышел из дома.

Была уже глубокая ночь. Высоко над головой мерцали звёзды, луна равнодушно освещала спящее село. Снег в том году выпал рано, под его однообразный скрип я покидал семью на долгие одиннадцать лет.

Меня привели в сельсовет. Там уже находились, тоже арестованные, директор нашей школы Иван Матвеевич Шотырко, учительница начальных классов Торопова и её отец Торопов — бывший священник. Все поникшие, словно придавленные тяжким грузом. Сидят молча, углубившись в себя. Я тоже сел и стал ждать.

Минут через двадцать нас посадили в грузовую машину, чтобы отправить в райцентр. Машину тут же окружили наши родные, но поговорить с ними нам не дали. Я не выдержал и крикнул жене:

— Настя! Береги себя и детей!

Машина тронулась. Я вижу: Лева хотел было бежать за мной, но жена с младшим сыном на руках задержала его. Они долго стояли среди дороги и смотрели вслед машине. У меня защемило сердце. Жаль было оставлять детей сиротами. Моя жена сама росла сиротой, без отца и матери.

Ехали мы больше часа. Дорога ухабистая, да ещё ночью, впотьмах. Наконец приехали в Саянск. Нас отвели в КПЗ. Там я увидел заведующего районо, старого члена партии, бывшего командира партизанского отряда, всегда серьезного, широкоплечего Сергея Петровича Щукина. Он был инвалид войны, на груди всегда носил орден Красного Знамени. Теперь ордена не было. Рядом с ним на нарах сидели заместитель председателя райисполкома Александр Васильевич Авдонин — тоже старый член партии и партизан, и его молодой сын — секретарь райкома ВЛКСМ. У окна стоял высокий статный инспектор крайоно Маслов. На нарах сидели директор школы и учителя Вознесенский, Гражданцев, Яриков, Черкасов и бухгалтер районо, фамилию которого я позабыл.

На другой день в КПЗ привезли ещё несколько человек, среди них были два учителя из нашей школы: Агапий Лукьянович Карякин — молодой высокий учи-

тель географии, и Михаил Михайлович Вылегжанин — тоже молодой учитель математики. Оба были комсомольцами. Кроме них в КПЗ сидели обычные крестьяне, бывшие партизаны и один ссыльный по делу Кирова — лысый старик. Всего нас там набралось восемнадцать человек. Просидели мы трое суток. Особенно тяжело было на третий день. Девятого ноября я должен был получать диплом в Красноярске. А вышло вон как. Вместо диплома — тюрьма!

Десятого ноября нас пешком отправили в Канскую тюрьму. Это километров сто будет. А уже мороз был, снега насыпало, на дороге сугробы. Так мы и пошли по этому снегу, сами не зная куда. Целый день шли, едва переставляя ноги. Заночевали в каком-то селении. Нас закрыли в пустой избе до утра. Можно было бежать, но это и в голову не приходило тогда. Никто не чувствовал за собой никакой вины. Надеялись, что во всём разберутся и отпустят. А если убежишь — что подумают родные? Ты спрячешься, а они останутся. Это как? Да и куда было бежать? Без паспорта, без денег.

Утром всех растолкали и погнали дальше. По дороге нас нагнали жёны. Передали кое-что из еды и немного денег. Разговаривать не давали, но мы с Настей перебросились несколькими словами. Я ей посоветовал ехать к моим родителям, мол, помогут. А одной ей было не выжить. Она сперва не поверила, а потом убедилась, что прав я был. По-моему всё и вышло.

В общем, пришли мы в Канск уже ночью и — напрямик в тюрьму. Там нас обыскали, отобрали все личные вещи, галстуки и ремни, чтоб не на чем было повеситься. Рассадили по разным камерам. А в камере что? Сверху тускло светит маленькая лампочка. Стены грязные, все исцарапанные разными надписями, маленькое окошко с железной решёткой, а снаружи козырёк, чтобы не видно было ничего. Вдоль стен сплошные нары. В углу — параша. А народу столько, что присесть негде, не то что на нарах, а и на полу не присядешь — всё занято! Я как вошёл, так и сел на корточки возле самой двери. Воздух спёртый, дышать трудно. И все напуганные, угрюмые, боятся даже разговаривать друг с другом, сердце у каждого в тревоге, чувствуется что-то недоброе, странное!

Ночь я там кое-как перекаптался, а утром — на допрос. Я, помню, обрадовался. Думал, всё выяснится и меня отпустят, ведь я ни в чём не виновен. Водили нас из тюрьмы в местный отдел НКВД, шли прямо по улице, по деревянному тротуару старого грязного Канска.

Следователь — невысокий, плотный чернявый мужчина средних лет — сначала поинтересовался моими биографическими данными, спросил про родных, уточнил их адреса. Спросил, с кем я имею переписку, кто ко мне приезжал и приходил в последнее время, о чём мы говорили. А потом вдруг спрашивает:

— В какой контрреволюционной организации состоите, Таратин, и с какого времени?

Я оторопел от такого вопроса, но держусь спокойно. Отвечаю:

— Никогда ни в какой организации не состоял и не состою. Это ошибка.

А он продолжает, словно и не слышал моих слов:

— Кто вас завербовал и когда? Кто у вас главный организатор в Саянах?

У меня аж в горле пересохло. Но креплюсь. Отвечаю спокойно:

— Меня никто никуда не завербовал, и я никого не знаю. Я работаю в Саянском районе всего второй год. Знакомых, кроме учителей, у меня там нет.

А следователь в это время что-то пишет. Спрашивает, не поднимая головы, как бы уточняя:

— На какое время назначено вооружённое контрреволюционное выступление?

— Какое выступление? Где? Ничего не понимаю!

А он продолжает тем же тоном:

— Где и сколько раз вы лично выступали с агитацией против Советской власти?

— Нигде никогда не выступал!

Вижу, следовательно меня толком не слушает и мои ответы не записывает, а всё время заглядывает в лежащую рядом папку и что-то оттуда переписывает. Через некоторое время даёт мне на подпись протокол. Я прошу разрешения его прочитать. Следователь снисходительно улыбается:

— Читайте, раз хотите. Но от этого вам легче не будет.

Я стал читать и — не верю своим глазам! В протоколе было написано, что я обвиняюсь по статье 58, пункты 2б, 4, 8, 10; что я признался в том, что состою членом Красноярской контрреволюционной организации с 1936 года, и всё это время вёл активную подготовку к вооружённому восстанию, что я имел связь с Бухариным и Рыковым, а также с работниками германского и японского посольств в Москве, от которых получал задания по организации вооружённого восстания против Советской власти в Саянах вместе с красноярскими контрреволюционерами и бывшим секретарём Западно-Сибирского крайкома партии товарищем Эйхе. В протоколе не было ни единого слова из моих ответов. Следователь сам сочинил, переписал с какого-то образца ложный протокол допроса.

Я оцепенел, в глазах потемнело. С трудом выдавил из себя:

— Это ложь! Я этого не говорил.

Следователь сразу встал на ноги и говорит строго:

— Ты что, на органы НКВД клеветешь? НКВД никогда не ошибается!

И даёт мне ручку, чтобы я подписал протокол.

Я говорю:

— Ничего подписывать не буду. Я не виноват в том, что вы тут написали.

Тогда он нажал на кнопку у себя на столе, в кабинет тут же вошёл рослый мужчина в форме НКВД. Спрашивает у следователя:

— Подписал?

Тот отвечает:

— Не признаётся и не подписывает.

Тогда мужчина достаёт из кобуры наган, подходит ко мне и с размаху бьёт рукояткой по шее. У меня из глаз искры посыпались, я покачнулся, но со стула не упал.

— Возьми ручку и подпиши! — грозно приказывает этот тип. — Иначе из этих стен живым не выйдешь! Пристрелю как собаку! Подписывай, ну!

Я испугался тогда, но понимаю, что подписывать нельзя. Нужно сперва разобраться. Подумал, что меня оклеветали. Говорю ему:

— Я ни в чём не виноват. Ни в какой организации не состоял и не состою, никакого преступления не совершил. Вы не смеете так обращаться со мной. Требую вызвать прокурора.

— Прокурор такими делами не занимается. Это доверено только нам. Мы тут всё решаем, понял?

— Тогда разрешите написать в Верховный Совет СССР.

— Тебе и Верховный Совет не поможет. Не задерживай нас, не мучай себя и подписывай протокол. Говорю по-хорошему.

Я молчу.

Он спрашивает:

— Ты женат? Родственники есть?

— Да.

— Очень хорошо. Если не подпишешь, завтра будут арестованы твоя жена и все твои родственники.

Я молчу.

Тогда он нажимает на кнопку. Заходит ещё один сотрудник в форме. Тот, что с наганом, командует:

— Веди его в КПЗ. Пусть там подумает.

Подняли меня со стула, повели.

В КПЗ никого не было. Тихо, спокойно. Я сперва обрадовался. Присел возле стены. Слышу, в соседней камере кто-то стонет. Прошло минут тридцать. Меня снова ведут к следователю. Не успел я сесть, как он спрашивает:

— Подумал?

И подаёт протокол с ручкой. Я не беру, не хочу подписывать себе смертный приговор.

Тогда следователь приказывает мне сесть на угол табурета и вытянуть ноги перед собой, а руки положить на колени. Я сопротивляюсь, тогда он берёт меня за плечи и ставит в угол, как провинившегося ученика. Так я простоял два часа. Он в это время что-то писал в свои бумаги. Два раза выходил из кабинета. А когда возвращался, спрашивал:

— Будешь подписывать?

Я говорил: нет.

После второго раза он вызвал конвойных. Зашли двое. Он им говорит:

— Не подписывает, сопротивляется.

Они кивнули друг другу и все трое подошли ко мне. Подвели к табурету и насильно посадили на него. Двое держат за руки, а следователь вставляет мне в уши две ручки и с силой вдавливают внутрь. От нестерпимой боли я резко вскакиваю и нечаянно ударяю следователя головой в подбородок. Как он расвирепел! Закричал как ненормальный, ударил наотмашь, и все трое стали меня бить. Повалили на пол, пинали сапогами. Я закрывался как мог. Но разве уберёжешься. Изо рта и из ушей у меня пошла кровь. Я закричал, стал звать на помощь. Тогда двое сели на меня, стали затыкать рот какой-то тряпкой. Потом подхватили на руки, подняли и с силой бросили на пол плашмя, чтобы отбить внутренности.

— Будешь подписывать?

Я молчу.

Тогда снова поднимают и бросают на пол.

Так несколько раз.

Потом видно устали, бросили меня, ушли.

Я лежу на полу. Боль по всему телу, в горле пересохло. С трудом поднимаюсь, сажусь на табурет. Смотрю: на столе следователя лежит раскрытая папка с протоколом допроса, а рядом с ней — наган. Дверь в кабинет прикрыта не плотно. Из коридора доносятся разговоры и смех. Потом наступила тишина. Следователь не появляется, хотя стоит в коридоре, чего-то ждёт. Я так и понял, что они ждут, что я схвачу наган и что-нибудь сотворю. Но я их раскусил и не поддался на их уловку.

Минут через десять зашёл следователь. Вызвал конвоира, и меня увели в общую камеру. На нарах свободного места нет. Я прилёг на пол возле стены. А жажда мучает — невмочь! Глотка пересохла. Хоть бы один глоток воды! Но её в каме-

ре не было. Ко мне подошел седой, ещё крепкий старик с широкими кустистыми бровями. Спрашивает:

— Как, сынок, подписал протокол?

Я отрицательно помотал головой. А он говорит:

— Терпеть надо, пока силы есть. Ты, главное, не слушай провокаторов. Тут всем предъявляют одинаковые обвинения по пятьдесят восьмой статье.

В камере тогда находилось человек двадцать пять: партийные и беспартийные, старые и только со школьной скамьи, рабочие и крестьяне, врачи и учителя. Были и ленинградцы — бывшие ссыльные по делу об убийстве Сергея Кирова. В каждой камере сидели провокаторы. Они всех уговаривали, чтобы подписывали быстрее и себя не мучили; следователи всё равно своего добьются, а мы ничего не докажем, только подорвём своё здоровье. Следователи и сами нам говорили: «Признайтесь, назовите руководителей, тогда наказание будет небольшим». Тех людей, которые подписывали протокол даже не читая, больше не вызывали, им разрешили передачи. Себя они чувствовали бодрее, чем мы, хотя тоже не знали, что их ожидает завтра. Не подписавших признание было мало, и все они, вроде меня, лежали в лёжку и стонали от боли. Спать в первую ночь я не мог, только дремал, то и дело просыпаясь от лязга замков и от страха, что меня снова заберут на допрос. Разговаривать нам не разрешалось, но арестованные потихоньку говорили меж собой, рассказывали свои истории.

Седой старик, который в первый раз подходил ко мне, сидел там уже неделю, но его на допрос ещё не вызывали. Он был старый член партии. При царе за революционную деятельность долго сидел в тюрьме, затем эмигрировал. В Россию вернулся после февральской революции. Был участник боёв 1917 года, вместе с Крыленко арестовывал царское правительство в Гатчине. Потом работал в аппарате ЦК. После смерти В.И. Ленина его арестовали и долго держали без следствия и суда в московской тюрьме. Затем осудили по пятьдесят восьмой статье сроком на десять лет. Он отбыл срок и ссылку, а затем его вновь арестовали.

«Меня оклеветали тогда по указанию Сталина, — уверенно сказал он. — За то, что я выступил в 1922 году на съезде партии против избрания Сталина генеральным секретарем. У него нутро меньшевистское, он только притворяется большевиком».

Меня тогда поразили эти слова.

Ещё мне хорошо запомнилась история одного канского врача, тоже уже немолодого человека. В камере он сидел первые сутки. Рассказывал о себе так:

«Вчера утром начальник НКВД вызвал меня по телефону к себе на квартиру. У него болела жена. Я пришёл, послушал, осмотрел её и прописал лекарства. В этой семье я бывал и раньше, мы праздники вместе справляли. Начальника НКВД я считал другом-приятелем. Всё было нормально. А тут вижу, не хочет со мной разговаривать! Только спросил, что с его женой. Я сказал, что у неё нервы не в порядке, желательно положить в больницу и подлечить. Начальник ничего не ответил. Я попрощался и ушёл. А вечером опять звонок. Начальник вызывает к себе в кабинет. Я пришел, сел и спрашиваю: «Что, тоже заболел?» Он молчит. Потом достает и показывает ордер на арест. Тут в кабинет заходят двое, и он им говорит: «Отведите его в тюрьму!» Я спрашиваю: «Что это значит? Объясните!» В ответ ни слова. А сегодня утром на допросе он говорит мне: «Нам известно, что вы в больнице систематически отравляли людей. Как вы это делали? Сколько людей погубили?» Я смотрю на него — ничего понять не могу. А он спрашивает, кто у



меня друзья, их фамилии, имена и отчества. Я перечислил несколько знакомых, назвал и его фамилию. Он как стукнет кулаком, как закричит, чтоб я замолчал, чтобы навсегда забыл его фамилию, иначе отправит меня на мыло или на удобрение. Затем спрашивает: «Скажите, от кого получали задания?» Я говорю: «Ни от кого никаких заданий не получал! Я только больных лечил. Вы же сами это хорошо знаете». А он слушать меня не хочет, своё гнет, отвечай, говорит, по чьему заданию и с кем травили людей...»

Бухгалтера Канского мукомольного завода обвинили в поджоге с целью вредительства. Он рассказывал, что сидел в конторе и видел, как во двор комбината заехала какая-то грузовая машина, остановилась возле склада и ни с того ни с сего загорелась. Прибежали рабочие, пожарные комбината и начали огонь тушить. В это время откуда-то появились милиционеры и стали арестовывать людей. Тем временем пламя с грузовика перебросилось на склад. Бухгалтер вызвал по телефону городскую пожарную команду. Пожар был ликвидирован. А ночью и на следующий день в городе было арестовано более ста человек, в их числе — директор комбината, два инженера и бухгалтер. Было заведено большое дело, поводом для которого послужил пожар. Всех арестованных обвиняли во вредительстве и поджоге, их также били и заставляли подписывать ложный протокол допроса. Судила их выездная сессия Верховного суда СССР. Директора и двух инженеров приговорили к высшей мере наказания, остальным дали по 10 лет лишения свободы.

Многие арестованные делились мыслями по поводу творящегося произвола. Толковали по-разному. Одни говорили, что Сталин окружен врагами, что его обманывают, а Ежов — немецкий шпион. Другие во всём обвиняли Сталина. В их числе был и седой ссыльный с кустистыми бровями. «Весь произвол исходит только от Сталина, — утверждал он, — остальные же исполнители его воли». Его мнение разделяли и бывшие ссыльные по делу Кирова, делегаты XVII съезда, которые в убийстве Сергея Мироновича подозревали Сталина. Говорили, что он подчинил себе политбюро, ЦК, правительство и Верховный Совет. Его слово — закон для всех. Он теперь стал диктатором, чего не должно быть при социалистическом строе. Они говорили, что Киров был другом народа, пользовался большим авторитетом среди членов центрального комитета и делегатов семнадцатого съезда партии. После его выступления делегаты бурно и долго аплодировали. Видно, Сталин понял, что ему больше не быть генсеком, и он решил убрать Кирова и всех неугодных ему членов ЦК, объявив их изменниками, шпионами и врагами народа.

Запомнились мне слова седого ссыльного: «Судьбу нашу они решили уже давно, а протокол — это формальность и документ, чтобы оправдать преступления, совершённые против народа. Как бы ни было трудно, но честному человеку надо до конца жизни оставаться честным. Придёт время, настоящее станет прошедшим, и откроется тайна произвола. Станет известно всему миру, что мы не преступники, а настоящие преступники встанут перед судом партии и народа».

Я слушал своих товарищей по несчастью и ни в одном из них не видел врага народа. Наоборот, все они были обеспокоены, переживали за происходящее в стране, говорили, что аресты наиболее образованных, пользующихся авторитетом, преданных партии и Родине людей из всех слоёв населения — всё это на руку нашим врагам, и в первую очередь — расцветавшему в Германии фашизму во главе с Гитлером. Но зачем и кому это было нужно? Произвол творился помимо партии и правительства органами НКВД. Судила заочно невиновных людей

тройка НКВД или Особое совещание. Убирали всех инакомыслящих, даже своих соратников, а люди ничтожные, не способные самостоятельно мыслить, решали судьбы миллионов, возвышались в должности до министров. Такими были Гаранин, Ягода, Ежов, Берия и другие.

Днем я немного уснул. А вечером меня опять повели на допрос.

Следователь был тот же. Он приказал мне сесть на табурет, а когда я сел, подал мне протокол и ручку.

— Подпиши по-доброму, — спокойно и чуть ли не по-дружески произнёс он. — Не ты первый, не ты последний. Не подпишешь — заставим. Только потом жалеть будешь, потому что после этого жить тебе долго не придётся.

— Зачем вы заставляете меня подписывать ложный протокол? — негромко спросил я. — Вы ничего не доказали и хотите, чтобы я сам себе подписал смертный приговор.

— Тебя не расстреляют, — уверенно сказал следователь. — Сошлют в дальние лагеря. Там будешь жить и работать. Придёт время, тебя освободят, и ты вернёшься к своей семье.

— А зачем меня сошлют в дальние лагеря, если я ни в чем не виноват?

Следователь некоторое время молчал, затем, глянув на меня с прищуром, медленно, выделяя каждое слово, говорит:

— Значит, подписывать не хочешь...

Поднимается со стула, хватая меня за шиворот и ведёт к стене.

— Стоять и не двигаться!

Так я простоял у стены всю ночь.

Утром в кабинет на допрос привели мужчину лет тридцати пяти. Вопросы следователь задавал точно такие же, как мне. Потом даёт ему протокол на подпись. Тот не подписывает. В кабинет вошел сотрудник НКВД, стал крутить ему руки, давить пальцем на глаза. Мужчина кричит от боли, а следователь приговаривает:

— Если не подпишешь, завтра приведём сына, жену, отца и брата...

— Я не преступник! — хрипло говорит допрашиваемый. — Ничего не знаю. Ничего не делал плохого. Работал честно. Планы всегда выполнял.

Два раза его уводили. Снова приводили. Били, шантажировали, но от подписи он отказался.

В кабинете никого. Я всё ещё стою у стены. Креплюсь, хотя отёкшие ноги уже не держат. Сил больше нет. Я падаю на пол. Появляется сотрудник, поднимает и кричит мне:

— Встал быстро к стене!

Я пытаюсь подняться, но одеревеневшие ноги не слушаются. Подходит второй. Вдвоём берут меня под руки, волокут из кабинета, потом по коридору, вниз по лестнице, с размаху бросают на пол в КПЗ. Я больно ударяюсь головой. Лежу, ничего не соображаю. Голова чугунная. Во рту пересохло. Хочется умереть. Слышу, кто-то спрашивает:

— Подписал?

Не открывая глаз, отрицательно мотаю головой.

— Ну и зря. А я подписал. Все подписывают.

Мне не до разговоров, а он лезет с расспросами.

— Вы узнали секретаря Красноярского крайкома?

Я молчу. Открываю глаза. Передо мной плюгавый мужчина средних лет. Смотрит заискивающе. Спрашивает снова:

— Вы Эйхе знаете?

— Знаю. Это секретарь Западносибирского крайкома, — сказал я и отвернулся, догадавшись, что передо мной провокатор.

Через час я снова был у следователя.

— Так ты знал секретаря Красноярского крайкома партии?

— Нет.

— Как нет? А в камере говорил, что знаешь!

— Я раньше работал в Западносибирском крае, а он тогда был секретарем крайкома.

— Значит, вы были знакомы?

— Нет, я же беспартийный. Ни встречаться, ни разговаривать с Эйхе мне не приходилось.

— Ты учился в Красноярске?

— Да. В пединституте.

— Знаешь профессора Шапиро?

— Видел его. Он читал нам лекции по педагогике.

— И что он говорил о политике, какие давал вам задания?

— О политике ничего не говорил. Заданий, кроме учебных, никаких не давал.

— Щукина знаешь?

— Знаю. Это заведующий нашего РОНО.

— Вы с ним часто встречались?

— Два раза. Первый раз в 1936 году, когда я получил назначение на работу, а второй раз во время аттестации учителей.

— Ты знал, что Щукин женат на бывшей жене белогвардейского офицера?

— Нет.

Следователь нажал на кнопку, и в кабинет завели Шарина — бухгалтера РОНО. Следователь спрашивает меня:

— Знаешь его?

Я ответил, что знаю.

Тогда он обращается к Шарину:

— Вы его знаете?

Тот отвечает:

— Знаю. Это завуч Унерской школы.

Следователь вдруг как грохнет кулаком по столу, как закричит на Шарина:

— Говори, что мне рассказывал!

И Шарин стал говорить:

— Таратина завербовал Щукин в Красноярске, ему было поручено руководить агитацией против Советской власти в селе, он — член штаба подготовки к вооруженному восстанию.

Я сначала не понял, а потом до меня дошло.

— Это ложь! — кричу. — Он врёт. Как не стыдно!

Шарина тут же увели.

Следователь снисходительно улыбнулся и говорит:

— Успокойся, Таратин. Это была очная ставка. Игра проиграна. Все твои товарищи признались, что состояли в контрреволюционной организации по Красноярскому краю. И все они показали, что ты был ее членом.

Больше он допрашивать меня не стал, только посоветовал подписать протокол. Но я отказался. Стою, молчу, устал говорить одно и то же. Ноги отекли ещё

больше, нет больше сил стоять. Хотел переступить, и не смог, упал. Подошли двое, поволокли в КПЗ, а оттуда на санях отправили в тюрьму.

На допросы из тюрьмы водили обычно ночью, при этом не давали не только пить, но и спать. Так вот не поспишь пару ночей и становишься как чумной. С допросов люди возвращались искалеченными, полуживыми, многие — морально сломленными. Сидели со мной два брата — рабочие Канского завода, оба комсомольцы. Старшего допрашивали двое суток без перерыва. Когда он вернулся в камеру, его было не узнать! Он поседел, лицо отёкшее, рот искровавлен... Он не выдержал пыток и подписал ложный протокол. Потом не находил себе места, переживал за свою слабость, плакал и говорил: «Мой дед — участник гражданской войны, сражался за Советскую власть. Был дважды ранен, награжден двумя орденами Красного Знамени. Партийный работник. А теперь его обвиняют в шпионаже и измене Родине. А нас заставляют клеветать на деда. Отец наш погиб в гражданскую в армии Блюхера. Нас воспитывали дед с мамой. И вот...»

Младший брат не вернулся в нашу камеру. Как мы потом узнали, его сильно били, надев смирительную рубашку, затем бросили в КПЗ, где он пролежал трое суток. Ему стало плохо. Тогда его положили в тюремную больницу. Но и там не давали покоя: приходил следователь и с помощью угроз добивался подписи. Парень плюнул ему в лицо и ударил его ногой. Разъярённый следователь выхватил наган и пристрелил его прямо на кровати. Об этом мы узнали позже, когда к нам в камеру пришел человек из тюремной больницы.

Сфабрикованные протоколы на сидящих в тюрьме подследственных подписывали многие: одни из-за трусости или малодушия, другие — попавшись на удочку провокаторов или следователей, обещавших свободу, третьи — не выдержав физических мук, четвёртые — в полусознательном состоянии после пыток. Некоторые после допросов сходили с ума. В большинстве случаев это были старые партийные работники и партизаны, которые своими руками завоёвывали и устанавливали Советскую власть. Были и такие, которые, вернувшись с допроса, избегали разговаривать и смотреть на людей. Они подписали протокол, даже не прочитав, что там написано, и соглашались наговаривать ложь на своих товарищей, чтобы спасти себя.

По тюремной азбуке, которую мы освоили довольно быстро, я узнал, что первым из наших, саянских, протокол допроса подписал Шарин. Не выдержали избивений, пыток и шантажа молодой учитель Вылегжанин и секретарь райкома комсомола Авдонин. Его отец Александр Васильевич — старый коммунист, бывший партизан — ничего не подписал, его сильно избивали, потом забрали из камеры и перевели в тюремную больницу.

Вскоре меня привели в кабинет начальника НКВД. Стою, молчу. И начальник молчит. Затем закуривает папиросу и медленно прохаживается по просторному кабинету. Смотрю на стол, покрытый зеленым сукном, на папку, лежащую на нем, и думаю: «Наверное, он хочет меня отпустить». От этой мысли сердце мое радостно забилося.

На столе — графин с водой. Стараюсь не смотреть на него. Но он как магнит притягивает взгляд. Это заметил начальник. Налил стакан воды и поставил передо мной. Я с жадностью выпил и поблагодарил.

— Протокол всё же подписать надо, — говорит начальник, повернувшись ко мне. — Революции без жертв не бывает. Когда рубят большой лес, рубят и мелкий, чтобы не мешал.

— Революция совершена в 1917 году, — говорю ему. — У нас построено социалистическое общество, о чём было объявлено на XVII съезде партии три года назад. Зачем ему невинные жертвы? Кому это надо?

Начальник молчит. Затем нажимает кнопку на столе. Через минуту являются двое.

— Идёмте!

Один впереди, другой — сзади. Кое-как передвигаюсь. Сначала идём по узкому коридору, затем спускаемся по лестнице в подвальное помещение. Передний открывает металлическую дверь, а второй сильно толкает меня в спину. Дверь захлопывается.

От толчка я упал на пол. Темно, хоть глаз коли. Сыро и холодно. Вдруг кто-то застонал.

— Кто тут? — спрашиваю.

Не отвечает. Только изредка стонет. На потолке вспыхивает лампочка. Вижу распластанного на полу человека в луже крови. Вокруг него клочья волос.

— Ты кто? — спрашиваю негромко, но человек молчит, видимо, без сознания.

Открывается дверь, и в подвал входят трое. Один направляется к лежащему человеку, приподнимает за волосы его голову, заглядывает в глаза. Произносит с усмешкой:

— Живой ещё.

По спине у меня пробежал холодок, сердце сжалось.

С трудом поднимаюсь с пола, стою ни жив, ни мёртв.

Троица подходит ко мне....

Бьют молча и по чему попало, словно тренируются на манекене. Один ударил по шее так, что голова закружилась, второй ударил под сердце, и я согнулся от боли, держусь рукой за сердце; третий ударил прямо в живот, и я присел на пол, стал кричать и звать на помощь!

Но всё бесполезно. Никто не услышит и не поможет. А эти трое продолжают бить меня, и всё молчком.

Я падаю. Меня поднимают и снова бьют. Вскоре я теряю сознание.

Прихожу в себя от холода.

Палачи ушли, а я лежу весь мокрый. Перед уходом они облили меня водой. У меня зуб на зуб не попадает, а подняться нет сил. Лежащий неподалеку от меня человек уже не стонет. Лежит тихо и спокойно, отмучился бедняга.

Я перестал думать о жизни, жду только смерти. Хотелось умереть, лишь бы избавиться от мук.

Так я пролежал до утра.

А утром опять явилась та же тройка. Положили мёртвого на носилки и куда-то унесли. Потом пришли за мной. На руках притащили к следователю, посадили за стол. На столе — булка с колбасой, нарзан, папиросы. Во рту и в горле у меня всё пересохло, очень хотелось пить или смочить горло. Следователь кладёт передо мной протокол, макает ручку в чернильницу. Я не подписываю, молчу. Он наливают воды в стакан, говорит:

— Сначала подпиши протокол, потом пей и ешь, всё это для тебя! — и показывает на стол.

— Требую прокурора, — с трудом произношу, едва ворочая распухшим пересохшим языком.

— Хорошо, — говорит следователь и берёт телефонную трубку. Минут через

двенадцать приходит прокурор. Я ему говорю, что я ни в чём не виноват, а всё, что написано в протоколе, — ложь, под которой меня насильно заставляют подписываться. Не дают спать, избивают, пытаются. А это не положено по советским законам.

— Была ли очная ставка? — спрашивает прокурор.

— Была, — отвечаю. — Ложная.

Прокурор полистал протокол допроса и невозмутимо сказал:

— По материалам следствия ваша вина доказана показаниями ваших товарищей, свидетелей и очной ставкой. Отказываться от подписи вы не имеете права. А неправильное ведение следствия вы можете обжаловать в Верховный суд.

Сказал это и ушел.

А следователь опять макает ручку в чернила.

— Подписывай быстрее. Больше пяти лет тебе не дадут. Отправят в лагерь. Здоровье сохранишь.

Я отказываюсь, говорю ему:

— Лучше умру сейчас, но честно, без позора, чтобы потом меня не осуждали мои дети.

И снова жестокие избиения и пытки. Надели наручники, стали крутить голову, зажимать пальцы в дверь и тому подобные штуки.

Так более трех недель без перерыва.

Нервы у меня расшатались. Я пал духом. С трудом открываю глаза. Сопротивляться больше не в силах. А надо, пока ещё жив. Решил лучше умереть, но остаться честным человеком.

В последний раз меня привели «на подпись» днём в подвальный кабинет. За столом, к моему удивлению, сидел уже знакомый мне милиционер Куропаткин, который меня арестовывал. «Неужели и этот будет бить?» — подумал я, опускаясь на стул.

Смотрю: передо мной на столе протокол и ручка. Собираю всю волю в кулак, говорю:

— Не подпишу!

В кабинет зашёл начальник отдела НКВД. Видит не подписанный протокол, берёт мою руку, вставляет между пальцев ручку и, улыбаясь, пытается написать в протоколе мою фамилию.

Я сопротивляюсь.

В протоколе вместо фамилии получается бесформенный зигзаг.

— Вот и всё! — произносит начальник с довольным видом, — уведите его.

Меня уводят. Слышу, как начальник говорит Куропаткину:

— Оформляйте быстрее всех. Надо отправлять. Подпись теперь не имеет значения...

Так я стал чужим в родной стране. Тоска, печаль, несправедливость повлияли на людей. Сидишь и мысленно перебираешь пройденный путь: детство, учёба, работа. До боли в сердце обидно за то, что сидишь в неволе ни за что.

Тюрьма была переполнена: в крошечных камерах сидели по тридцать-сорок человек. На улице мороз, а в камере нечем дышать. На прогулку выводили во двор тюрьмы один раз в сутки на тридцать минут. Руки назад, ходить гуськом, не разговаривать. Кормили два раза. На завтрак кружка воды и двести граммов черного хлеба, на ужин столько же хлеба и миска тёплой, без жира и без соли, баланды, в которой плавали три-четыре листочка капусты или брюквы. Иногда давали кашу

и кусочек рыбы. А вот Шарин баланду не ел. Он питался отдельно, получал передачи. Всё это за то, что подписал протокол и давал очные ставки. Его переводили из камеры в камеру по необходимости, затем перевели в одиночку. О его дальнейшей судьбе я ничего не знаю.

После прогулки нас часто обыскивали. Один раз, помню, заставили раздеться в коридоре, тщательно прощупали одежду, даже заглядывали в рот, и лишь потом запустили в камеру. Часто проводили обыск и в камере, каждый раз проверяя прочность решёток. «Волчки» закрывали редко. Если замечали, что кто-то с кем-то разговаривает, провинившихся наказывали. Раз в день выводили из камеры в туалет, а ночью заключённые пользовались парашей.

Так прошла зима. В апреле я получил передачу от жены. В ней были теплые вещи, носовые платки и записка, а продукты не разрешили передать. Свидание нам не дали.

«После твоего ареста, — читал я в записке, — меня сняли с работы, выгнали из квартиры, но уехать не разрешили. 3 марта я устроилась на работу в соседнюю деревню. Говорят, ваши дела будут пересматривать, якобы допустили много ошибок. Потерпи, родной! За нас не беспокойся. Дети и сама пока здоровы. Береги своё здоровье».

Я, помню, горько усмехнулся этому совету. Как тут убережёшь здоровье? Раны от допросов перестали болеть, но я ещё очень слаб. Была бы хорошая пища, свежий воздух и подходящая работа, тогда ещё ладно. Но этого не было и в помине. А вот слова жены о том, что наши дела будут пересматриваться, заставили задуматься. В душе затеплилась слабенькая надежда.

И верно, в начале 1938 года в нашей тюрьме произошла перемена. На допросах избивали и пытали редко, больше уговаривали подписать протокол. Говорили, мол, кто подпишет, тому срок будет меньше. И режим стал полегче. Можно было даже песни потихоньку петь. Помню, пели «Не слышно шума городского...», «Бродягу», «В воскресенье мать-старушка...» и другие старинные тюремные песни. Один молодой заключённый запел было «Широка страна моя родная», но его никто не поддержал. Кто-то зло сказал:

— Хозяин у нас один — мудрый грузин. А мы, настоящие хозяева, здесь вот, за решёткой!

Вскоре нас перевели в одноэтажное здание на хозяйственном дворе тюрьмы. Из всех камер собралось человек четыреста. Не было Щукина, Шарина и ссыльного старика. Не было и Вылегжанина.

Мы гадали, зачем нас тут собрали. Некоторые говорили, что хотят куда-то отправить. Но ведь никого ещё не судили ни открытым, ни закрытым судом. Неизвестность, тоска по свободе, по родным и близким, а главное — сознание того, что сидишь в тюрьме совершенно ни за что, угнетающе действовали на людей. Некоторые надламывались и умирали не столько от пыток, сколько от душевных мук.

Все мы ждали отправки на большую стройку, в лагерь. Думали, что там будет легче. Я ещё в институте слышал, что американцы предложили нашему правительству совместно строить северную железную дорогу, соединяющую США с Советским Союзом: Аляска — Чукотка — Якутск — Тайшет. Думали, что нас отправят на эту стройку. В нашей камере был один мужичок, он два года отсидел за мелкую кражу, так он говорил, что в лагере много лучше чем в тюрьме: кормят, одевают и зарплату начисляют каждый месяц. Когда кончится срок, деньги выдают на руки. А мой новый знакомый директор школы сказал тогда: «Нет уж, теперь

нам зарплату не видать, как своих ушей. Дадут срок, и будешь работать бесплатно от звонка до звонка».

Но я всё же мечтал, что буду честно работать, а в свободное время буду заниматься самообразованием, читать умные книги. Но я ошибался. Всё оказалось хуже, чем я думал.

Третьего мая, в десять часов утра, нас вывели во двор и выстроили в шеренгу по пять человек. Погода была тёплой, солнце слепило глаза. Мы не могли надышаться свежим воздухом и насмотреться на простор голубого неба. Притащили небольшой ящик, поставили его на табурет. Пришёл начальник тюрьмы, встал у ящика.

— Кого назову, должен выйти из строя и пройти сюда, — объявил он. Опустил руку в ящик и достал первый пакет, стал читать фамилию, имя и отчество.

Всех, кто вышел, построили в колонну и под охраной с собаками повели по городу. На улицах от самой тюрьмы было полно народу. Были тут и родственники заключённых, узнавшие о предстоящей отправке, и простые жители Канска. Привели нас на железнодорожную станцию, погрузили в красные товарные вагоны с решётками на окнах и специальными козырьками над ними, чтобы ничего не было видно.

Внутри вагонов, по обеим сторонам, были устроены сплошные нары в два яруса. Но всем не хватило места, вагон был переполнен. Многие стояли на ногах, менялись местами, давая друг другу отдыхать. Были среди нас и уголовники. Они сразу заняли лучшие места.

Поезд простоял на этой станции в тупике двое суток, но к вагонам никого не подпускали. Одна пожилая женщина кричала издали:

— Ваня! Ваня! Где ты? Отзовись! Что же с нами теперь будет?!

Вся в слезах, она пошла было к вагонам. Конвоир закричал и толкнул её прикладом в грудь. Женщина упала прямо в лужу. Стонет, не может подняться, а конвоир кричит:

— Стрелять буду!

Какая-то девушка помогла ей подняться, и они ушли. Ваню своего она так и не нашла.

Это мы видели через щель — козырёк на одном окне вагона оторвался, и через образовавшуюся щель мы поочерёдно смотрели на волю, отыскивая в толпе своих родных и близких. Я свою Настю так и не увидел.

Перед отправкой разрешили передать передачи. Мой знакомый по камере, бывший главный инженер Канского мясокомбината, ещё не женатый Николай Иванович тоже получил обильную передачу от невесты. Уголовники это заметили, один из них сразу подошёл к нам, потребовал поделить передачу. Пришлось поделиться.

Двери вагона целый час были открыты, многие увидели своих, получили передачу и переговорили. Многие рыдали, прощались. Меня никто не провожал, но я тоже плакал вместе со всеми.

Трудное было расставанье. Весна, трава зеленеет, на деревьях набухают почки. Тоска распирает грудь.

Я попросил у товарища несколько листиков папиросной бумаги и карандаш. Написал письмо жене:

«Здравствуйте и прощайте, мои дорогие! Два дня наши вагоны стояли на станции, ждали эшелон из Красноярска. Два дня стояла толпа народу перед нами: при-



шли провожать своих из города и района. Как мне хотелось ещё разочек увидеть вас, мои родные. Но ты, Настя, конечно, не знала, когда нас будут отправлять. Может, больше не увидимся. Очень жаль, но судьбу свою изменить я не в силах. Настя, береги себя и детей. Не забывай своего несчастного мужа. Нас обвиняют по статье 58, суда пока не было. Куда нас повезут — не знаем, поезд пойдёт на восток. Постарайся уехать к моим родным. Прощай!»

На одном листочке написал: «Кто найдет это письмо, отправьте, пожалуйста, по адресу: Красноярский край, Саянский р-н, Унер, Таратиной».

Скоро двери вагонов закрыли, людей от вагонов отогнали, на станцию прибыл Красноярский эшелон с заключенными.

Когда нас подцепили к прибывшему из Красноярска эшелону и состав тронулся, застучали колёса, четко отсчитывая стыки рельс, я тщательно, чтобы не разлетелись, сложил исписанные листики бумаги и выбросил их из поезда.

Говорят, что свет не без добрых людей. Так оно и есть. Кто-то поднял этот клочок бумаги и отправил по адресу, об этом мне написала жена через два года.

Провожавшие нас люди долго шли рядом с вагонами, плакали, махали руками. Когда поезд прибавил скорость, отстали. А ребята ещё бежали за поездом далеко за станцией.

Остались позади широкие сибирские просторы, проехали Иркутск, Байкал, Читу. Поезд шёл на восток. На остановках часто простукивали вагоны деревянным молотком, проверяли целостность стенок и полов. Вдруг слышим, уже где-то за Байкалом — выстрел! И резкий толчок. Поезд остановился, кто-то кричал, было слышно, как тихо шелестят деревья, идет мелкий дождь. В соседнем вагоне уголовники вырезали пол и на ходу на повороте бросились под вагон. Когда их заметили, стали стрелять и остановили поезд. Потом в Находке мы узнали, что четверо ушли в тайгу. Одного из них пристрелили.

Поезд тронулся, и мчался всё дальше и дальше на восток. По сторонам замелькали сопки. Мы проехали мимо Волочаевки, где в боях за Волочаевскую сопку на смерть стояли в 1922 году бесстрашные бойцы главкома Блюхера и партизаны. Их тоже везли вместе с нами. А самого Блюхера признали изменником Родины — врагом народа, хотя сопка Июнь-Корань увенчана бюстом народного героя. Блюхер был расстрелян 9 ноября 1938 года.

Во время стоянки давали раз в сутки баланду и 200 граммов хлеба. Второй раз кипяток и 300 граммов хлеба. Через каждый вагон в тамбуре стоял с винтовкой охранник. На последнем вагоне были установлены прожектор и пулемет. Так мы и двигались до самого Тихого океана.

До Находки ехали десять суток. В дороге всего натерпелись. И голода, и жажды, и издевательств уголовников, которых посадили к нам в вагон. Питанием меня сначала поддерживал Николай Иванович, он пять дней делился со мной продуктами. Но потом уголовники у него всё украли, и мы оба остались на казенном пайке. В Находке нас определили в пересыльный лагерь, расположенный на горе. С территории хорошо было видно море и часть города. Пейзаж радовал глаз, но нам было не до него. У всех на уме крутилось одно: что нас ждёт?

В лагере нас выстроили и сделали перекличку. Затем вскрыли наши пакеты и зачитали приговоры, вынесенные заочно «тройкой» НКВД по Красноярскому краю. Срок у всех был один — 10 лет лишения свободы. И тем, кто подписал протокол допроса, и тем, кто отказался подписывать.

В моём приговоре было написано: осужден по делу Бухарина, Рыкова за уча-

стие в подготовке к вооруженному восстанию по статье 58, пунктам: 2б (измена Родине), 4 (террор), 8 (подготовка вооруженного восстания), 10 (коллективная агитация против Советского строя) — сроком на 10 лет.

Со всех сняли отпечатки пальцев, велели запомнить свои номера. Мой был — 42 000. При проверке кричали номер, а заключенные должны были назвать свою фамилию.

Лагерь был обнесен тройной колючей проволокой. Это был палаточный городок, разделённый на несколько зон. В нейтральной зоне ходили охранники с собаками. На вышках стояли часовые, ночью зажигался прожектор. Переход из одной части в другую не разрешался. Женская зона находилась на правой стороне лагерного двора, отдельно. Нас поместили в девятую зону. В центре лагеря, недалеко от нас, стояли деревянные здания для начальства, обслуживающего персонала и охраны. В палатках были устроены двойные двухъярусные нары вагонного типа. За каждым закрепили место и прибили ярлычок, где были написаны химическим карандашом номер и фамилия заключённого. Всех предупредили, чтобы из палатки не выходили кроме надобности и в уборную. Кухня находилась на главном лагерном дворе. Обед привозили на тележках и кормили на улице около палатки. Столов не было, ели стоя. Кроме хлеба и баланды иногда давали кашу из китайской крупы и макарон.

Однажды нам привезли на тележках рыбу, стали раздавать по кусочку. Она страшно воняла, по ней ползали белые черви. Несмотря на голод, многие не могли это есть. Часть рыбы увезли обратно и доложили об этом начальству. Пришли начальники, и приказали повару все-таки раздать ее. Многие взяли рыбу, очистили от червей, но есть так и не смогли. Когда начальство ушло, мы побросали её кто куда, а того, кто не притронулся к ней, заперли в карцер и там долго продержали, и есть им не давали. Хлеб нам выдавали заплесневелый, с крысиным помётом.

Здесь, в пересыльном лагере, на следующий день я неожиданно встретил секретаря нашего Саянского райкома партии Петрова. Он рассказал, что его, райуполномоченного НКВД и милиционера Куропаткина арестовали в марте 1938 года. Но на допросах не били и не заставляли насильно подписывать протокол. Сидели они оба в Красноярске.

На другой день ко мне прямо в палатку украдкой пришел начальник нашей районной почты. От него я узнал, что райуполномоченного НКВД и милиционера Куропаткина содержат здесь же, но отдельно от нашего брата. Он же рассказал, что все аресты проходили только по указанию крайотдела НКВД. Ночью, в половине первого, его вызвал райуполномоченный к себе в кабинет, а в час ночи оба они пошли на почту, где по телеграфу получили указания, каких людей и когда арестовывать, куда их отправлять, как оформить документы и т.д. Райуполномоченный внимательно читал телеграфную ленту, что-то записывал, а затем сжигал ее. Так было несколько раз. Потом прислали нового работника из Красноярска. Он арестовал самого уполномоченного, секретаря райкома партии, районного прокурора и начальника почты.

Спустя два или три дня в лагере произошла ещё одна неожиданная встреча. По утрам мы по очереди по двое ходили за кипятком. Кипятильник стоял около водоколонки, которая находилась рядом с женским отделением. Как-то пришёл я с товарищем за кипятком, и вдруг слышу знакомый женский голос: «Илья Федорович! Илья Федорович!» Я повернулся и за колючей проволокой увидел учительницу нашей школы Торопову.

— Здравствуйте! — сказал я. — А вас по какой статье арестовали?

— По пятьдесят восьмой, — с болью и тоской в голосе ответила она. — Дети нечаянно порвали в классе портрет вождя. И вот... В общем, за плохое воспитание детей.

Мы перебросились ещё парой фраз и попрощались.

В Находке нас продержали десять суток. Всего заключенных в лагере было около пятидесяти тысяч. Но всё время прибывали эшелоны с арестованными. И хотя никто из лагерного начальства не говорил нам ни слова, все уже знали, что повезут морем на Колыму, и что отправка задерживается из-за транспортных судов, которые оттуда еще не вернулись.

В середине мая началась отправка, как сейчас говорят, в места не столь отдалённые. В числе пяти тысяч заключенных я попал на судно «Уэлен». Глубокой ночью наш корабль тихо и спокойно поплыл по морю. Везли нас в трюме. Было тесно, душно, темно, только в дальнем углу горела одна лампочка. В Японском море было тихо, плыли спокойно. Время от времени заключённых выводили на палубу — посмотреть на белый свет и подышать свежим воздухом. На вторые сутки наш корабль приблизился к проливу Лаперуза. Справа виднелся берег Японии, слева — берег Южного Сахалина.

Очередная прогулка на палубе проводилась, когда наш корабль в сопровождении японского катера плыл по проливу Лаперуза. Вдруг двое пленников прыгнули за борт и поплыли в сторону японского берега. Часть охраны открыла по ним огонь из винтовок, другая принялась спешно загонять нас в трюм. Корабль замедлил ход на короткое время, потом быстро поплыл дальше.

О судьбе сбежавших мы ничего не узнали, слышали только, что они были моряками дальнего плавания.

В Охотском море поднялся страшный шторм. Судно бросало то вверх, то вниз как щепку, заваливало то налево, то направо. За бортом шипело и кипело. Было слышно, как через палубу перекачивались волны. Началась невероятная качка, всем было страшно. В трюме трещали нары, с них летели на пол наши немудрящие пожитки. Многие заболели «морской болезнью»: болела голова, некоторых рвало, лежали почти без движения. Я тоже лежал пластом, меня рвало, я не мог подняться, но когда трюм открыли и стали выводить на палубу, я постарался быстрее выбраться на свежий воздух, где мне сразу стало легче. Особенно плохо было пятерым. Они лежали без сознания. Пришёл судовой врач, осмотрел и велел положить их рядом на полу. Но никакой помощи им не оказал. Ночью всех пятерых унесли и выбросили в море.

Корабль дальше плыть не мог, через пять дней пристал к берегу Камчатки и простоял сутки. На шестой день шторм утих, но волны всё ещё заливали палубу потоками холодной пенистой воды. На востоке медленно понималось солнце, и открывались необыкновенные красочные дали. За кормой стаями летали белоснежные крикливые чайки. Впереди, далеко от нашего корабля, плавал огромный кит, время от времени выпуская фонтан. Изредка из воды выскакивали дельфины.

На седьмые сутки мы ступили на землю Колымы. Моросил холодный дождь. На берегу не было никаких строений. Кругом штабеля, закрытые брезентом, мешки, ящики, разное оборудование. Впереди виднелся небольшой барачный посёлок Магадан. За ним теснились горы и сопки. Нас построили в колонну по пять человек, пересчитали и передали новому конвою. Раздалась команда:

— Шагом марш! Быстрее, быстрее!

Мы двинулись в неизвестный путь, бросив последний взгляд на море. Нас привели в баню, одиноко стоявшую в поле. Велели сдать вещи и раздеться. В бане каждому дали по два черпака воды. Кто только умылся, кто лишь голову намочил.

Тут же командуют:

— Выходи, одевайся!

Всем выдали лагерное бельё, бушлат, кепку, боты на деревянном каблуке. А наши вещи и одежду не вернули. Вновь построили в колонну и погнали в Магадан, в пересыльный лагерь. Дороги как таковой не было, только грязные неровные тропы. Кругом пни, кое-где остались деревья после вырубки, между пнями кусты карликовой берёзы и густой зелёный мох. В центре Магадана стояли четыре двухэтажных деревянных дома. В них находились Управление Северо-Восточных Исправительных Трудовых Лагерьей (УСВИТЛ) и Управление «Дальстроя». Рядом — пересыльный лагерь, в котором заключенных долго не держали, а сразу отправляли в тайгу, в дальние лагеря.

Нас покормили, затем посадили на машины и куда-то повезли. Ехали мы шесть суток. Сначала по шоссе, потом по плохой грунтовой дороге, поросшей молодой лиственницей, осиною и карликовой берёзой. Временами поднимались на сопки и горы, и тогда под нами расстилалась сплошная тайга.

Проехали Атку, Колымский мост возле Дебина, посёлок Ягодный, миновали высокой и красивый Черский хребет, затем Хатыннах.

«Далеко везут, — невольно подумал я. — Отсюда обратно не выбратся».

Нас доставили на прииск «Штурмовой». В то время это был самый дальний прииск от Магадана, до которого более семисот километров. Он находится в долине реки Хатыннах, со всех сторон окружен мрачными горами. Прииск имел три отделения: верхнее, среднее и нижнее. Я с учителем нашей школы Карякиным попал в нижнее отделение Штурмового, а наш директор Шотырко и заместитель председателя райисполкома Авдонин — в среднее.

Лагерь был палаточным. Кругом обнесен колючей проволокой, по углам стояли вышки с часовыми. Неподальёку находился единственный барак, в котором размещалась охрана. Нас пересчитали, разместили по палаткам, потом группами стали водить в столовую. За шесть суток мы впервые увидели горячую пищу.

Время было уже под вечер, и сразу после ужина мы легли спать.

На другой день после завтрака всех повели на работу. Выдали инструменты: ломы, кайла, лопаты и тачку. И начались наши трудовые будни. Лопатами снимали верхний слой грунта и отвозили на тачках в сторону. Долбили ломами крепкую как гранит вечную мерзлоту в шахматном порядке, закладывали аммонал и взрывали. Грунт отвозили на тачках. Эту процедуру повторяли несколько раз, пока не добивались до золотоносного песка.

Песок тоже мёрзлый, но его не взрывали, а оттаивали на солнце. Через два-три дня снимали и отвозили на тачках на бутару, где и промывали. Золото оставалось на дне бутары, а грунт и песок уносился водой. Работали в две смены по двенадцать часов. За смену бригада намывала три-пять килограммов чистого золота, а иногда и больше. Бывали случаи, когда намывали до тридцати килограммов. Несмотря на это, кормили плохо, обращались не по-человечески. В нашу бригаду включили отпетых уголовников, осужденных за убийства и бандитизм, которые, как правило, ставились бригадирами, дневальными, инструментальщиками, поварами и хлеборезами. Все они измывались над нами как хотели — и в лагере и на работе.

Утром и вечером проводили переключку заключенных. Подъём и отбой по звонку (удар железной трубой по рельсу).

Наступил август. Начались дожди, однако работу не прекращали ни на минуту. От изнурительного труда, плохого питания, морального унижения люди слабели на глазах. В это время до нас дошёл тревожный слух, что по приискам разезжает «тройка» НКВД во главе с начальником всех колымских лагерей Гараниным. Говорили, что он царь и бог, и куда ни приезжает, везде устраивает массовые показательные расстрелы осужденных по статье 58, обвиняя их в саботаже и нежелании работать.

Не прошло и недели, как Гаранин приехал на прииск «Штурмовой» — на черном лимузине и с охраной на грузовике.

В тот день я на своё счастье, спасаясь от мух, взял бушлат и ушел спать за палатку. Проснулся, когда все ушли в столовую, в палатке остался один дневальный. Увидев меня, он сказал:

— Тебя бригадир искал. На вахту к начальству вызывали. Наверное, освобождение.

Я вышел из палатки и думаю: куда идти? В столовую или на вахту? Пошёл на вахту. Осуждён ни за что, может, и вправду освобождение!

У входа в соседнюю палатку стоял Агапий Лукьянович. Спрашивает меня:

— Вы куда, Илья Федорович?

— На вахту вызывали. Бригадир искал.

— Не ходите туда! Кого вызывают, обратно не отпускают. Из нашей бригады тоже одного вызвали. Его до сих пор его нет. Всех закрывают в пустую палатку.

На душе стало тревожно. На вахту я не пошел. Бригадир решил на глаза не показываться. Ушёл в сторону, стал наблюдать за вахтой и за палаткой, в которую закрывали наших товарищей. Вокруг неё была выставлена охрана с собаками.

Спустя некоторое время около вахты остановился грузовик с заключенными. Мелькнуло знакомое лицо. Это наш директор школы. Куда его? Может, на другой прииск отправляют?

Арестованных выгрузили из машины и пропустили по одному через вахту, провели и закрыли в палатку. А минут через десять из нее вывели всех заключённых, построили в колонну по пять человек и через ворота куда-то увели.

Вечером, ещё засветло, нас выстроили побригадно напротив вахты. На трибуну поднялся начальник лагеря Резников — высокорослый, с горбатым носом, грубый в обращении.

— Вы враги народа! — сказал он. — Свою вину вы должны искупить честным трудом. Сегодня мы расстреляли семьдесят человек за организованный саботаж и плохую работу. Завтра будем расстреливать ещё, если будете плохо работать!

Но ведь никто не саботировал, все работали, напрягая последние силы!

Около трибуны висела доска объявлений. Мимо неё провели все бригады, чтобы люди увидели решение Колымской тройки НКВД: «Расстрелять за организованный саботаж врагов народа...» Далее следовал список несчастных с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения. В числе расстрелянных я увидел фамилию директора нашей школы — Ивана Матвеевича Шотырко.

Заиграл духовой оркестр. Открылись ворота лагеря. Бригада за бригадой направлялись на работу в вечернюю смену. У ворот задерживали, считали и записывали количество людей. Туда же подошла и наша бригада. Стали считать. Ну, думаю, сейчас меня задержат и отправят на вахту, стою ни жив, ни мёртв. На этот

раз пронесло! Раздалась команда: «Вперед!» — и мы вышли из лагеря. Обо мне забыли.

Погода стояла дождливая и холодная, все мы были мокрые, грязные. Работать с каждым днём становилось всё тяжелее, мы обессилели, нам угрожали расстрелом, над нами издевались. Бригадир-уголовник, бывший главарь банды, кричит издалека:

— Грузи быстрее! Гони быстрее!

В руках у него дубина. Мой сосед — старик, бывший партийный работник — вконец обессилел, присел отдохнуть. Бригадир заметил, подошел и ударил его дубиной по спине. Старик упал и тут же скончался, не сказав ни слова.

\* \* \*

Некоторым всё ещё не верилось, что произвол исходил от Сталина. Они думали, что в Кремле ничего не знают о творящемся беззаконии. Считали, что надо бежать, добраться до Москвы и там рассказать, как здесь страдают и погибают многие тысячи ни в чём не повинных людей. Но я всё время вспоминал слова седого старика. Он говорил ещё в тюрьме, что зло и произвол исходят только от Сталина, а Ежов лишь послушный исполнитель его воли. Я ему верил, он говорил правду.

В лагере был пожилой якут — Иванов. Он собирался уходить в побег и уговаривал нас бежать вместе. Рассказывал, как лучше выходить на Олу и на Алдан, что в долинах рек Индигирки, Яны и Берелеха есть якутские стоянки и встречаются продуктовые склады геологоразведчиков. Даже надеялся, что якуты нам помогут. Иванов с Карякиным работали в ночной смене, они достали крупу, спички, соль. Надо было ещё день-два подождать, но после расстрела семидесяти человек мы договорились уходить в тот же день. Они выйдут из лагеря ночью, а я уйду с работы; мы условились, где встретимся. Иного выхода у меня и не было. К Гаранину меня уже вызывали. А он ещё не уехал. Значит, вызвать могут в любое время.

Работая после расстрела во вторую смену, я всё время ломал голову над тем, каким путём лучше уйти из рук Гаранина. Мы находились на западном склоне Черского хребта. Надо было уходить на запад, по направлению к Якутску. До Алдана придётся пробираться через горы и глухую тайгу, переправляться через две реки — Индигирку и Яну. Это больше тысячи километров. На всём пути, как я знал из учебника географии, не было населенных пунктов. Значит, надо иметь запас продуктов, одежды и, желательнее, ружьё, чтобы защитить себя от зверей. У меня ничего этого не было. И взять негде. А уходить с пустыми руками — верная смерть. Но и оставаться — смерть. Скоро зима, а зимой из лагеря будет уйти невозможно. Умирать не хотелось, я был ещё молодой, меня ждала семья.

Своими мыслями я осторожно поделился с двадцатидвухлетним Степаном Фроловым. Родом он был из села Фролово Ульяновской области, работал в комсомоле. Парень хороший. На Колыму попал не без помощи друга. Степан и его товарищ любили одну девушку. Та дала согласие выйти замуж за Степана. Друг отомстил — оклеветал парня, и его в день свадьбы арестовали (почти как Дантеса в известном романе). Осудила Степана тройка НКВД заочно, сроком на 10 лет.

Юноша поддержал меня, и в ту же ночь мы решили с работы в лагерь не возвращаться.

Стояла тёмная ночь. Кругом ничего не видно. Справа и слева лежат кучи промытого песка. Когда бригаду повели на обед, мы, воспользовавшись темнотой,

сделали два шага в сторону от тропинки и легли на землю. Охрана не заметила. Минуты через три отползли в противоположную сторону, поднялись и бесшумно перебежали дорогу, по которой постоянно ходила охрана. Дальше надо было подниматься в гору. Шли в полной темноте. Иногда останавливались и прислушивались, нет ли погони. Вышли на вырубку и оказались на просеке. Кто-то неподалеку закашлял, и мы замерли. Минут через десять мимо нас медленно прошёл охранник. На наше счастье — без собаки. Мы осторожно прошли по просеке и углубились в горы. Лес сменился кустарником. Впереди показалась вершина — голая, каменистая. Из кустов, пугая нас, выбежал заяц. Скоро утренняя заря осветила вершину горы. Небо стало сереть, но видимость ещё была плохая. Мы торопились скорее переправиться на другую сторону. Забрались на вершину. Спускались по каменистому склону — ноги скользят, камни из-под ног срываются и уносятся в глубину ущелья. Степан провалился между двумя каменными глыбами и никак не мог выбраться: не за что ухватиться. Я лёг на живот, подал руку. Камень сдвинулся с места, придавил его ещё сильнее. Я снял брюки, дал ему одну брючину, вторую держу сам. Кое-как вытянул! Но Степан сильно ушиб ногу, стал хромать. Спускаться стало ещё труднее, за нами летели камни.

От лагеря мы ушли совсем недалеко. Пошли на север, куда беглецы вообще не уходят. Здесь мы условились встретиться с Ивановым и Карякиным, но их не было. Полдня ждали, но не дождались и пошли вперёд по намеченному маршруту.

Ниже скал рос кустарник, в долине реки был виден густой тёмный лес, но до него надо пробираться через болотистое место. Прямо пройти невозможно, пошли в обход. За лесом видны заснеженные вершины гор с многочисленными изломами. Вдали — бескрайняя тайга. Туда мы и держали путь.

На краю болота много разных ягод: морошка, голубика, клюква. Срываем на ходу. После полудня добрались до берега реки Берелех, которая течет на север. Вода в реке очень холодная. Решили переправиться на другой берег, там было безопаснее. Разделись, одежду и галоши связали в узел, залезли в воду. Вода ледяная, заходим всё глубже и глубже, потом поплыли.левой рукой я держу узел, правой гребу. Вижу, Степан тонет, спешу к нему на помощь. Он уже упустил свою поклажу. Течение сильное, на повороте я цепляюсь за ветку ивы, склонившуюся к воде, из другой руки тоже упускаю свой узел и хватаюсь за рубашку товарища, тяну к себе. Оба кое-как выбрались на берег. Обессилевшие до изнеможения, лежим на земле, зубы стучат, нас трясёт как в лихорадке.

Минут через десять встаём на ноги и идём искать узлы вниз по берегу. На изгибе реки валежник поперек течения. Он своими сучьями задержал наши вещи. Свои я достал без труда, а узел Степана развязался. Одна галоша утонула, кепка уплыла, а бушлат и брюки зацепились за макушку дерева. Пришлось снова лезть в холодную воду. Бушлат, брюки, рубашки и всё бельё выжали. Сушить было негде, надели на себя мокрую одежду. Был уже вечер, дождь моросил, холодно. Решили разжечь костер, чтобы высушиться. Дрова мокрые, спички отсырели, костёр никак не разжигался, но всё же получилось зажечь огонь. Горит плохо, дым разъедает глаза. Степан притащил сухие сучья, и костёр разгорелся сильнее. Подсушили одежду, переоделись и расположились на ночлег. А к утру хлынул дождь, и укрыться негде. Пошли по берегу вверх, дул резкий осенний насквозь пронизывающий ветер. Едва передвигаемся, всё чаще останавливаемся. В одном месте заметили огромный валежник. Залезли под него, прижались друг к другу и сидели до утра.

Утром дождь перестал. В полдень мы вышли из болотистого сырого леса и вошли в сухой лес. Солнце греет, тепло стало, одежда немного подсохла. Лежим на земле, отдыхаем, собираем ягоды вокруг себя, кладём в рот: оба очень проголодались. Потом встаём и идём дальше. Попадают грибы, рвём и кладем их в рот сырыми. Лес становится реже, видны просвет и опушка. Трава невысокая, и кустов мало, идти стало полегче. Вышли к речушке, вода в ней грязная, мутная. Перешли речку вброд и повернули направо, наткнулись на избушку, а там засада. По телу пробежал холодок. Немного дальше увидели лесопилку. Возвращаться было уже поздно. Ползком обогнули избушку и пошли дальше. Вышли к небольшому лесному озеру, на самой середине его бесшумно плавали дикие утки. Нашли палки и крадучись пошли по берегу. Утки почуяли нас и сразу же улетели. Я смотрю вслед и вижу, как навстречу нам идут двое из охраны с собакой. Мы пригнулись к земле и тихо, незаметно вошли в камыши, там замерли. Нас не заметили, прошли мимо. Когда они скрылись, мы двинулись дальше, шли без остановки до самого вечера.

В тайге ночь наступает быстро, не успеет солнце скрыться, как становится сумрачно и очень холодно, тьма окутывает землю, не видно ни гор, ни холмов, одна чернота и полное безмолвие. Мы выбрали сухое место и легли отдыхать. Комары гнут, больно кусают, не дают уснуть. Утром поднялись, слышим, рядом речка журчит. Пошли к реке, умылись с берега, попили водички и потопали потихоньку на юго-запад. Вышли на свежую вырубку. Недалеко виднелся сруб, возле него две лошади на привязи. Мы подумали, что здесь отдыхают геологи, может, у них достанем продукты. Подошли к срубам, дверь занавешена одеялом, я чуточку отодвинул одеяло, смотрю, на полу спят люди. Их было семеро. Продуктов не видать, а в дальнем углу стояли винтовки. Значит, мы опять наткнулись на засаду. Снаружи рядом со срубом лежал неполный мешок с овсом, половину мы взяли и быстро ушли. Лошадей не стали брать, подумали, что этим выдадим себя. Идём быстро, торопимся. Вначале шли легко, потом стало труднее, вязнем, проваливаемся и, наконец, заметили звериную тропу. Шли по ней долго, в одном месте на песке увидели след медведя: стопа шире, но короче человеческой. Стемнело, и идти дальше ночью в тайге стало невозможно, да и устали сильно. Легли прямо на землю и заснули.

Спали тревожно. Встали рано. Сырое туманное утро, на траве роса, впереди поляна, усыпанная синими, розовыми и белыми цветами. Я сорвал цветы Иванчая и сказал:

— Давай, Стёпа, сообразим чаёк. Заварка есть.

Вдруг слышим женские голоса. В конце поляны появились женщины с косами, их было человек двадцать. Кто они? Пойти бы к ним, попросить кусок хлеба. Но нельзя. Мы не знаем, что это за люди. Уходим с поляны, спускаемся к какой-то речке. На берегу солдаты. Котелками набирают воду. Значит, женщины — заключённые, а солдаты их охраняют.

На четвёртый день мы вышли на тропу со следами не то диких зверей, не то оленей, и она нас привела к поляне, на которой мы решили передохнуть и хоть немного подкрепиться ягодами. Вдруг видим: невдалеке проехал верхом якут. Он нас заметил, прятаться было уже поздно. Он, видно, доехал до засады и рассказал про нас. Солдаты с собакой кинулись на наши поиски.

Мы стали уходить, идём через бурелом. А там вечная мерзлота, деревья пускают корни неглубоко, запинаясь о них. Пересекаем ручьи, пробиваемся сквозь густые заросли. Видно, там ещё не ступала нога человека. Вышли на открытое



место. Кругом высокие кусты малины. Решили собрать ягоду про запас. Впереди около куста ольхи зашевелились кусты малины. Я приблизился к кустам, говорю: — Стёпа, хватит собирать, пойдём дальше.

Он не отвечает. Я подошёл вплотную и увидел не Степана, а ... медведя. Тот стоит на задних лапах и собирает малину. Я стою и не могу сообразить, что мне делать. Медведь увидел меня, слегка заревел и, раскачиваясь вправо и влево, побегал в чашу леса.

Идти по медвежьему следу мы не решились, и оставаться там было опасно. Пошли через болото на сопку. Ещё из леса не вышли, как уже началось болото. Мы стали перепрыгивать с одной кочки на другую, но они попадались всё реже. Не раз проваливались по пояс в ледяную жижу, а потом кочек не стало вовсе — одна коричневая жижа. Пльвём по этой жиже. Ни на секунду нельзя остановиться, сразу засасывает. Так мы плыли метров двести, затем снова появились кочки, поросшие травой и мелкими кустиками. Цепляемся руками за кустики и траву, отдыхаем, а сами по горло в трясине. Наконец почувствовали под ногами твердую почву, но совершенно выбились из сил. Залезли на большую кочку и лежим, уткнувшись лицом в траву. Уже ночь наступила. Мы немного отдохнули и ползём дальше. Опять отдыхаем, потом снова ползём. Так постепенно выбрались из болота. Обессиленные, упали на землю и некоторое время лежали в забытьи. Мучил голод, не было сил двинуть рукой.

Дальше было сухо, никакой растительности. Видимо, здесь был пожар, кругом лежали головёшки, чёрные угли. Мы выжали одежду и устроились спать и проспали до самого утра. Утром глядим: руки наши и лица все в бугорках от укусов комаров. Сняли с себя одежду, выжали её и высушили на солнце. Потом оделись и пошли дальше. Над нами пролетала стая диких гусей, затем послышался шум мотора, и в небе показался самолет. Он летел на запад, значит, на материк. Мы вспомнили родных и близких. На душе стало горько. Вижу: Степан пал духом, не хочет даже разговаривать. Я собрал все силы, встаю и говорю ему:

— Подъём, Степа! Надо дальше идти.

Вновь появились следы оленей и тропинка. Куда она ведёт?

Этого мы не знаем.

Через некоторое время нас догнала сибирская лайка. Собака не лаяла и не нападала, наоборот, ласкалась и повизгивала. Видимо, отстала от хозяина и теперь была рада, что нашла людей. Мы тоже обрадовались: значит, рядом была стоянка и люди. Я снял ремень и набросил его на шею собаке. Пригодится, подумал я. Степан, вон, еле ноги передвигает.

Иду с собакой, она меня тянет вперёд, идти стало легче. Оглядываюсь, Степана нет. Кричу:

— Стёпа, ты где?

Не отвечает. Уже солнце спряталось за сопки. Снова кричу:

— Стёпа!

Отозвался. Иду обратно, собака не хочет идти. Тяну её, ласкаю — никак не идёт. Вижу, Степан неподалёку лежит на земле. Подхожу к нему.

— Устал. Не могу больше, — говорит он, не поднимаясь.

— Держись за ремень, — отвечаю, — с собакой легче идти. — Вставай!

Он кое-как поднялся. Не успели сделать шаг, услышали выстрелы.

Видим — бегут два солдата из охраны лагерей и на бегу стреляют в нас. А впереди них несётся скачками разъяренная овчарка. Мы бросились бежать, но куда

там! Добежали до опушки леса, овчарка догнала нас и перегородила дорогу. От страха мы упали на землю. Солдаты подбежали. Один с наганом, другой с винтовкой.

— Встать! Руки вверх!

Тот, что был с винтовкой, ударил меня прикладом по левой руке, и та повисла как плеть. Он же ударил и Степана. Удар пришёлся по рёбрам. Степан застонал и упал. Солдат приказал собаке:

— Взять!

Овчарка набросилась сначала на меня, потом на товарища. Разорвала наши бушлаты в клочья, искусила обоих.

Солдаты отозвали собаку и приказали:

— Встать!

Мы встали, еле держимся на ногах. Тот, что с наганом, обыскал нас. Достал бумагу, карандаш и стал допрашивать: фамилия, имя, отчество, год рождения, по какой статье осуждён, из какого бежал лагеря.

Записал всё, бумагу и карандаш положил в нагрудный карман. Тот, что с винтовкой, отошел немного и направил на нас оружие, а который с наганом, приказал нам повернуться спиной.

Мы не поворачиваемся.

— За что?! Зачем? — спросил я, поняв, что жизнь наша висит на волоске. — Мы не преступники! И не враги народа! Нас оклеветали, осудили и загнали сюда по ошибке! Поэтому и бежали из лагеря! Хотели добраться до Москвы и рассказать, что мы ни в чём не виноваты, пусть пересмотрят наши дела. Будьте людьми, поймите: как мы можем быть врагами народа? Мне двадцать восемь лет, я учитель, у меня дома жена осталась и двое детей, а он вообще не женатый, ему двадцать два года только. Он же мальчишка, комсомолец. Поверьте, я говорю правду.

Тот, который с наганом, повернулся к товарищу.

— Может, поведём?

Другой всё ещё держит нас на прицеле, не соглашается. Говорит:

— Сотню километров на себе их, что ли, тащить. Да и зачем? Их всё равно расстреляют.

Тут заговорил Степан. Негромко и умоляюще.

— Подождите, не убивайте. Вы же видите, мы ещё молодые. Мы жить хотим! Отведите нас в лагерь. Пусть уж там что хотят, то и делают. Не надо, не стреляйте!

Второй солдат опустил свою винтовку. Видно, наши слова, слёзы и мольбы дошли до сердца обоих конвоиров. Один пошёл вперед и приказал нам следовать за ним. Второй с собакой пошёл за нами. Торопят: быстрее, быстрее!

Привели нас в небольшой якутский посёлок: три барака, баня, пекарня и несколько юрт. Возле продуктового склада — мешки с продуктами, покрытые брезентом. Рядом землянка. Солдаты скрылись в ней, оставив нас у входа. Обессиленные, мы опустились на землю и лежали не двигаясь. Нас окружили старые и молодые якуты, дети. Многие смотрели с жалостью и что-то говорили промеж собой. Две женщины отделились от толпы и вскоре принесли нам воды, немного сахара и сухарей. Мы поели, стало немного легче.

Потом солдаты вынесли нам пшено в кастрюле. Сказали: «Варите и ешьте». Недалеко на улице стояла железная печка. Мы заварили кашу на воде и поели. На этой же печке они себе и собаке сварили рисовую кашу с мясной тушёнкой. Рядом с землянкой стоял пожарный щит, около него лежали нарты. Нам приказали

устраиваться на ночлег на этих нартах, а рядом привязали собаку. Сами ушли в землянку. Видно, они здесь были не в первый раз.

Стало темнеть. Погода опять изменилась, заморосил дождь. Потом дождь усилился и уже лил не переставая. Мы вымокли до нитки, замёрзли, дрожим, зуб на зуб не попадает. Стали ворочаться, залаяла собака. Солдаты услышали, вышли посмотреть. Видно, поняли, в каком мы состоянии, и отвели нас в баню. Сказали, чтобы на улицу не выходили. В бане было тепло, наверное, днём в ней мылись. Мы отогрелись и на полке уснули. В предбаннике нас сторожила собака. Рядом с баней всю ночь ходил сторож, он охранял склад.

Утром, когда солдаты увели собаку кормить, сторож пришёл к нам. Русский, было ему лет пятьдесят, бывший заключённый. Теперь жил в посёлке. Срок заключения кончился давно, но выезд на родину ему не давали. Он сказал, что теперь на материке тоже ничего хорошего нет, и что он привык среди якутов. Сказал нам, что уйти отсюда невозможно. По долинам рек везде засады. Они охотятся за беглецами как за куропатками и расстреливают на месте. После расстрела отрубают кисть руки, чтобы сделать отпечаток пальца, а труп остаётся на месте, его поедают звери или расклёвывают вороны. Сказал, что нам очень повезло, что нас не расстреляли. Здесь не поймают, так в другом месте попадётся. А если и не поймают, так в тайге сам подохнешь. Или пристрелят якуты. Беглецов здесь разрешено стрелять на месте. Якутам за каждого убитого дают 50 рублей вознаграждения. Только у мертвого надо было отрезать кисть руки или уши и показать их начальнику.

— Куда хотели выйти? — спросил сторож.

— На Олу или Алдан, — ответил я.

— На Алдан дорога вон там, — показал сторож. — Видите большую гору? Алдан в той стороне. До него больше тысячи километров, и всё по горам. — Помолчал немного и сказал: — Недавно нашли трёх мертвых беглецов на этой горе. В них никто не стрелял. Сами погибли.

Сторож ушёл. Пришли солдаты, вывели нас из бани, покормили сухарями и повели на берег реки. Там они связали плот из брёвен, которые штабелями лежали почти у самой воды. Когда плот был готов, нас посадили на него, и мы поплыли вниз по течению. Сначала плыли спокойно. В это время я сказал солдатам: «В лагере очень много невинно осуждённых, потому что судит заочно тройка НКВД, а не законный суд».

Они посмотрели друг на друга, ни слова не сказали и друг с другом не разговаривали, как будто в рот воды набрали. Им запрещено разговаривать с заключёнными. Видно, они боялись и друг друга. Вдруг пойдёт один к уполномоченному и расскажет о том, что другой общался с заключёнными. Тогда ему не видать рисовой каши с тушёной, будет баланду хлебать вместе с нами.

Два раза плот садился на мель и на камни. В одном месте на повороте не удержался, врезался в скалу, и нас выбросило на берег, сам плот развалился. С большим трудом его опять связали. Приходилось заходить в ледяную воду по пояс. Потом поплыли дальше. Прошли больше сотни километров. Но солдаты нам не сказали ни слова.

К вечеру приплыли на место, где охранники жили в засаде рядом с лесопилкой. Нас закрыли в небольшое деревянное помещение, в котором уже сидели трое. Примерно в час ночи всех вывели на улицу. Темно, собаки рычат. Нас осветили фонариками и куда-то повели. Сначала шли по лесу, по бездорожью. Мы споты-

каемся, падаем. Собаки скалятся, рычат, а солдаты торопят. Вышли из леса и по-дошли к сопке. Появилась луна и облегчила нам путь, хотя кругом бугры, ямы, грязь, вода.

На рассвете мы подошли к своему лагерю. Из него как раз выезжал Гаранин на своём чёрном лимузине.

\* \* \*

Нас закрыли в карцер и продержали ровно сутки. Не давали ни пить, ни есть. На второй день дали по одной солёной рыбе. Рыбу мы съели с потрохами, после чего пить захотелось ещё больше. На наше счастье пошёл дождь, а потолок в карцере был худой. Сквозь него просачивалась грязная вода, и все, а нас было человек десять, с жадностью подставляли рты.

Вечером второго дня нас перегнали в другой карцер, подальше от лагеря. Это был небольшой деревянный барак, разделённый на две части. Из одной половины днём выводили на работу, а из другой, где мы и сидели, на работу не брали. Там было человек сорок, из них десять — бывшие бандиты и рецидивисты. Было очень тесно, негде было даже присесть. На нарах лежали, играли в карты и спали только уголовники. Нас они к картам не подпускали. А если кто пытался присесть на нары или прилечь, того тут же зверски избивали. Если кто оказывал сопротивление, того окружали, высоко поднимали и бросали на пол, или били по печени. Уголовники все здоровые, а мы доходяги, едва живые. Они не знают жалости, сердца у них холодные, как у палачей. Живут они вольготно, нисколько не переживают, не задумываются ни о чём, и ничто их не страшит, чувствуют себя хозяевами. Между собой дружны, но если кто играет нечестно или не уплатит долг, убьют и своего.

Играли возбуждённо, с азартом. Все зорко смотрят на каждую брошенную карту. Одни смеются, другие злятся. Вдруг двое заспорили, вскочили на ноги. Смотрят друг на друга как затравленные звери, матерятся, в руках ножи, готовы зарезать друг друга. Старший усатый сказал: «Хватит!» Тогда только поостыли.

Я сидел на полу рядом с нарами. Двое уголовников зажгли коптилку в углу и стали что-то мастерить. Смотрю украдкой, что они делают. Вижу: штампуют продуктовые талоны. У одного бандита кличка была — Чебоксар.

— Слушай, Чебоксар, — спрашиваю его. — Ты не земляк мне?

— А ты откуда?

— Из Чебоксар.

Уголовник улыбнулся.

— Вон как! А как попал сюда?

Я вкратце рассказал, а он рассказал о себе. Учился он в московском университете, нечаянно убил человека. Сначала его обвиняли по статье 58, но дело пересмотрели. Теперь он сидит как уголовник. А родом он действительно из Чебоксар, зовут Николаем.

Утром его вызвали куда-то, вернулся только вечером. Принес хлеб, масло и сахар. Оказывается, он был на работе в поселке, где жили вольнонаемные. Перед отбоем он подсел ко мне, отрезал кусок хлеба.

— Подкрепляйся!

Я, конечно, взял хлеб и поблагодарил Николая.

На следующий день всех осужденных по пятьдесят восьмой статье перевели в штрафной лагерь. Больше своего земляка я не видел.

В штрафном лагере было всего две палатки, а кругом высокая стена с колючей проволокой сверху. По углам, на вышках, стоит днём и ночью охрана. У ворот вахта, рядом с ней медпункт. Охрана и кухня вне лагеря. Кормят только два раза: когда идёшь на работу и когда возвращаешься в лагерь. Кухня — как деревенская баня. Еду выдавали через окошко. Подходили по очереди, строем. Чашек не хватало, а ложек совсем не было. Бланду пили через край, а оставшуюся на дне крупу и гнилую картошку выскребали рукой. Кашу накладывали то в кепку, то прямо в руки. Если кто задерживался, получал черпаком по голове. Не давали отдыхать ни одной минуты. Всё надо было делать быстрее: и работать, и есть. В палатке постели не давали. Голые нары из жердей. Спали не раздеваясь, было холодно. Стояла железная печка, но она почти не грела — дрова не горели, только трещали, а палатка была худая, как решето. Ливень пройдёт, и все мокрые. После ужина, не заходя в лагерь, шли в лес за дровами. В бараках ежедневно делали обыск, во время которого уголовники всех выгоняли палками: старший по палатке и дневальный. Всё это на глазах у начальства.

Здесь царил тот же принцип: разделяй и властвуй! Все придурки (обслуживающий персонал, не работающий в забое): бывшие бандиты, убийцы, грабители, обманщики, изверги, которые никогда нигде не работали — ни на воле, ни в лагерях. Эти люди — паразиты общества, своим жестоким обращением с нами они стремились облегчить свою участь, делали это с большим наслаждением и успешно.

В первый день, когда нас погнали на работу, бригадир выдал нам на двоих тачку и лопату, указал, откуда и куда возить грунт. А сам стал прохаживаться и поглядывать по сторонам. В руках у него была дубинка. Ушибленная прикладом винтовки рука моя опухла, но всё же я взял тачку. Большую руку подвесил через шею на проволоку. Так возил грунт, пока не упал вместе с тачкой с эстакады. Лежу, не могу встать. Ушиб и руку и ногу. Подошёл десятник, хотел ударить дубинкой, но не ударил почему-то. Спросил, что у меня с рукой. Я кое-как поднялся, показал опухшую руку. «Наверное, перелом», — сказал я.

Он направил меня в медпункт. Настоящие врачи работали в забое, а в медпункте сидел уголовник, фельдшер-ветеринар. Он посмотрел руку, сказал, что у меня перелом. Хотел чем-то смазать, перевязать. Спросил:

— Как ты сломал руку?

Я сказал, что солдат ударил прикладом.

— Значит, ты не хотел работать?

Всё, что он держал в руках, бросил на стол, открыл дверь и вытолкнул меня из медпункта.

Всю ночь я не мог уснуть: рука горела огнём. Видя, что я ворочаюсь, ко мне подошёл один товарищ, спрашивает:

— Что с рукой?

Я отвечаю:

— Перелом.

Он пощупал мою руку и говорит:

— Одна кость целая. Давай поправим, пока не поздно. Только крепись.

Он взял мою больную руку, легонько помассажировал, потом прощупал ещё раз место перелома, и неожиданно дёрнул. От боли я чуть не закричал. А он выбрал из лежащих у печки дров три палочки, приложил их к месту перелома и перевязал руку куском белья.

Утром я пошёл на работу (от нее никого не освобождали, какой бы ты ни был больной). Товарищ мой, Стёпа Фролов, тоже сильно страдал. Ему трудно было наклоняться — сломаны рёбра. Я обратился к товарищу, который правил мою руку, чтобы он помог и Степану. Тот согласился. После осмотра сказал, что Степану нужна операция, помочь он не может. Не верить ему было нельзя: человек до заключения был врачом одной из клиник Москвы.

Спали в эту ночь мы со Степаном вместе, под нарами. Вокруг было мокро, всю ночь лил дождь. Под утро я проснулся — Степана рядом нет.

Лежу, не сплю, а его нет и нет. Я встревожился, пошёл искать. Заглянул в уборную. Смотрю: висит Степан на шпагате, которым он резиновые калоши привязывал. Одну ногу опустил в дыру, а другая согнута. Как мне горько стало! Последнего друга потерял. А дома его ждали отец, мать и молодая невеста. Домашние адреса — он мой, а я его — выучили наизусть. Вскоре я написал письмо родителям Степана по адресу: Ульяновская область, село Фролово. Не знаю, дошло ли оно. Наши письма отправляли очень редко, и только после просмотра властями.

\* \* \*

В побег уходили в основном уголовники, и большими группами. Старались взять с собой два-три человека, осужденных по пятьдесят восьмой статье, как они говорили, «оленей». Когда у них кончались продукты, они по одному убивали врагов народа и съедали.

Из нашего лагеря одна бригада, которая работала в ночной смене, тоже ушла в побег. Уголовники обезоружили охранников, привязали их к эстакаде, ограбили кухню, спустились в долину, где паслись лагерные лошади, взяли их и ушли в горы.

Нас в тот день до обеда не выпускали и не кормили. Приехало начальство с солдатами и собаками, пошли в розыск. К вечеру волоком притащили пять человек убитых.

На другой день, когда мы возвратились с работы, всех обыскали. После обыска выстроили в ряд и стали вызывать по списку. Вызвали и меня. Всем вызванным велели идти в сторону, остальных запустили в зону.

Посадили нас в машину и увезли в центральный лагерь с особым режимом. Порядки такие же грубые и жестокие. Усиленная охрана. Работали только днём в забое, грузили и возили золотиносный песок. Дождь, холодный ветер. Сердце дрожит от усталости, от голода, от обиды и возмущения, а главное — от бессилия и невозможности что-либо изменить. Сердце чувствует что-то недоброе.

На четвёртый день перед закатом солнца забой, где мы работали, окружили со всех сторон солдаты с винтовками. Двое верхом на лошади остановились на краю. Один начальник, другой его помощник. Помощник стал вызывать по списку заключённых. Первым назвал мою фамилию. Я молчу. Меня в лицо здесь никто не знает, и бригадир тоже не знает. Бригадир кричит, ищет меня. Не отзываюсь. Подошёл ко мне, спрашивает фамилию. Я сказал: «Фёдоров». В жизни не помню, чтобы я когда-нибудь сказал неправду, а тут соврал. Зачем? Видно, как-то хотел продлить жизнь и отсрочить смерть. Стали называть другие фамилии. Люди выходили из забоя.

Им приказывали:

— Ложись!

И они ложились на землю на указанное место.

Всего вышли двадцать три человека.

Начальники подзвали к себе бригадира, о чём-то с ним поговорили. Тот стал подходить к каждому заключённому, внимательно смотреть в лицо. Подошёл ко мне, внимательно посмотрел и сказал:

— Иди, тебя вызывают. — И тут же схватил меня за руку и потащил на край забоя, где стоял помощник начальника в красной фуражке НКВД. Я вышел, смотрю, все ранее вызванные люди лежат на земле. Мне тоже приказали: «Ложись!».

Я лёг на бок. Начальник приказал охране окружить нас. Солдаты встали вокруг, держат винтовки наперевес. Начальник вручил помощнику папку, тот подошёл к нам, переписал фамилии, имена, отчества, по какой статье был осуждён и на сколько лет, когда уходил в побег. Начальник всё время сидел на лошади. После переписи он с помощником двинулись по дороге, за ними пошли и мы, окружённые со всех сторон охраной.

Начальник командует:

— Быстрее, быстрее! Не отставать!

Нас толкают винтовками и тоже кричат:

— Быстро! Не отставать!

Идём, натываемся друг на друга. У всех одна мысль: это конец, скоро нас не будет на белом свете. Среди нас были бывшие военные. Они говорили вполголоса:

— Надо всем вместе дружно напасть на охрану и отобрать винтовки. Умереть — так умереть в бою, как на войне.

Их не поддержали. Люди были слабые и еще на что-то надеялись.

Стали переходить вброд какую-то речку. По берегам ее рос кустарник. Один, видно, бывший военный, хотел бежать. Не успел сделать двух шагов, как его застрелили, а нас положили прямо в воду. Тычут винтовками, орут. Минуты через две-три подняли и погнали дальше.

Примерно через час мы были в поселке Хатыннах. В нём находилось Управление северо-восточных трудовых лагерей. Нас завели во двор и приказали лечь на землю. Привели еще несколько человек, приказали им лечь рядом с нами. Лежим как овцы, чего-то ждём. На крыльце появились двое в форме НКВД. Один высокий, без фуражки, черноволосый, лет пятидесяти, в галифе и сапогах; воротник кителя расстёгнут. Кто-то из наших сказал: «Это Гаранин».

Главный палач УСВИТЛ окинул нас, как мне показалось, тигриным взглядом, и что-то сказал сопровождающему — чуть пониже ростом и с рыжими волосами. Тот быстро достал из папки бумагу, видимо, наш список. Гаранин положил его на папку, подписал не читая, достал папиросу и закурил. По лицу видно было, что он доволен.

Оба переглянулись, что-то сказали друг другу, улыгнулись и ушли. Нас сразу подняли и под усиленным конвоем с собаками куда-то погнали.

\* \* \*

Серпантинка — это тюрьма для смертников. Название получила по вьющейся между сопок дороге. Сюда нас и пригнали. Тюрьма находилась в ущелье на северном перевале Черского хребта. Там был иной мир. Солнце туда не заглядывало, непрерывно, днём и ночью, свистел холодный пронизывающий ветер. Наше новое место жительства было обнесено высокой стеной и колючей проволокой.

По углам — вышки, на них — охрана с винтовками и пулемётами. Ночью горели прожектора. Внутри стояли палатки и три барака. На одном из барачных висел лист фанеры с надписью «Этапная камера». В неё нас и закрыли.

В камере находилось человек сто таких как мы и несколько уголовников. Нас — ещё сорок человек — закрыли сюда тоже. Меня поразила мёртвая тишина, царящая в ней. Люди лежали на нарах в какой-то странной задумчивости. Причина такой тишины вскоре выяснилась: из этой камеры не было возврата, из неё брали людей только на расстрел. Судьба наша теперь была решена — мы смертники. На нарах лежали живые трупы. Мы пополнили их число.

Староста камеры указал всем вновь прибывшим их места, написал на кусках фанеры фамилии и инициалы и прибил к изголовью. Мы молча расположились и тоже погрузились в тяжёлые думы.

Староста и еще один уголовник были осуждены народным судом к высшей мере. Они подали заявление на помилование в Верховный Совет и ждали ответа. Сидели они в этой камере около месяца, говорили, что каждую ночь расстреливают людей, осужденных по пятьдесят восьмой статье.

Настал вечер. Где-то далеко послышался шум трактора. Заключенные соскочили с нар и прильнули к щелям в стенах (барак был построен из бревен без пазов). Стал смотреть в щель и я, сдерживая дыхание. Вижу, как с горы спустился гусеничный трактор с санями, на которых стоял большой короб. Подъехал к барачку. Остановился. Но мотор работает. Казалось, ничего страшного для нас нет. Но заключенные молча и неотрывно продолжали смотреть во двор тюрьмы.

Наступила ночь. Каземат ярко осветился прожекторами. Из палатки вышли пятеро и подошли к нашей камере. Трое в форме, в красных фуражках, с автоматами, двое — в гражданской одежде. Во рту у меня сразу пересохло, ноги стали ватными, нет сил ни двигаться, ни говорить.

Со скрежетом открылась металлическая дверь. Они вошли и вызвали пять человек. Все названные медленно пошли к выходу... Напрягая последние силы, собственными ногами пошли навстречу смерти.

Я смотрю в щель, вижу: заключенных завели в палатку, затем оттуда по одному стали заводить в кабинет начальника, рядом с палаткой. Человек только переступит порог, как раздаётся глухой выстрел. Стреляют, видимо, неожиданно, в затылок. Через минуту палачи возвращаются обратно в палатку, берут второго, третьего, четвертого, пятого. Староста нам рассказал, что там надевают наручники, в рот заталкивают кляп, чтобы человек не мог кричать, потом зачитывают приговор — решение колымской «тройки» НКВД — и ведут в кабинет начальника, специально приспособленный для исполнения приговора.

Вскоре металлическая дверь барака снова заскрежетала. Вызвали еще пятерых, некоторые не могли идти, таких выводил староста. А дальше, до палатки, волокли по земле слуги Гаранина.

В ту жуткую ночь попрощались с жизнью семьдесят человек. Палачи работали, как на скотном дворе: без отдыха до рассвета. Всю ночь слышался мотор трактора. Он смолк, как только прекратили вызывать.

Наступила зловещая тишина. Я лёг на нары. Представил дом, отца, мать, жену и детей. Дорогие мои, сегодня очередь до меня не дошла, смерть миновала. Я жив, сердце ещё бьется. Что будет завтра — не знаю. Но хочу жить, хочу и надеюсь на чудо, на случайность, хотя это самообман... Но всё же, это то, чем живет смертник в последние минуты. Ему не хочется умирать глупой смертью. Трудно осознать,



что тебя, ни в чём не повинного, честного советского гражданина, лишают жизни. Где же правда?

Утром я многих не узнал: молодые стали седыми.

Опять заработал трактор, послышался лязг гусениц. Я снова припал к щели. Видел, как машина поднимается все выше и выше на освещённую утренней зарей гору, увозя в своем страшном коробе тела расстрелянных.

— Куда их теперь? — ни к кому не обращаясь, спросил я.

— На склоне ущелья есть большая яма, — глухо ответил кто-то. — В неё и сваливают...

Значит, и меня так же свалят из короба в ту яму. Мой труп будет валяться в ней без могильного холмика. И никто не будет знать, где я, никто не придёт на мою могилу. А спрашивается, по какому закону? Нет таких законов, чтобы ни за что судили, расстреливали и сваливали в ямы. Кому это надо? Как дико и бесчеловечно!

От тяжких мыслей разламывается голова.

Днём в нашу этапную камеру привели ещё несколько человек из других бараков. Они рассказали, что трое уголовников набросились на надзирателей, хотели их обезоружить. Но не получилось. Всех троих застрелили прямо в бараке.

Верующие становились на колени и страстно молились, прося у Бога защиты. Мой сосед по нарам, украинец, бывший секретарь обкома партии, тоже молился. Но молитвы не помогли. Днём он немного заснул, потом вдруг проснулся с криком. Говорит, что сон видел: его окружили черти и заставили лизать языком раскалённую сковороду.

Наступила вторая ночь. Трактор опять у тюрьмы. Работает мотор. Вижу, как идут к нашей камере. Вызывают пять человек и уводят. Сначала — в палатку, а потом — в кабинет начальника. Точно так же, как и в прошлую ночь.

Увели тридцать человек, в их числе и моего соседа. Он встал, обнял меня и заплакал. До двери не дошёл, упал обессиленный. Его поднял староста и довёл до надзирателей.

Меня пока не вызывали. Но до утра ещё далеко. А бойня работает чётко. Как не хочется умирать! Ведь мне всего тридцать лет. Работать бы да растить детей.

Вдруг среди ночи открылись тюремные ворота. В освещённый прожекторами двор въехали два грузовика с заключёнными. Под охраной надзирателей их быстро разгрузили и заставили лечь на землю. Начальник посмотрел на вышку, поднял руку. С вышки на них направили пулеметы. Стали поднимать по пять человек и уводить в палатку.

К утру расстреляли всех.

У нас больше никого не брали, видимо, не хватило времени: уже взошло солнце.

В камере — единственное небольшое окошко с решеткой. Я подошёл к нему. Видна сопка, слышно журчание речки. Смотрю на потолок. Нет, через него не уйдешь. А вот через пол можно: сделан из тесаного подтоварника и прибит штырями.

Подошёл староста. Словно прочитав мои мысли, сказал:

— Лежать надо, а не думать. Думать здесь бесполезно. За нашей камерой находится собака, она не даст убежать. Десять раз тебя убьют с вышки, когда будешь перебираться через стену и колючую проволоку. Да и я не позволю бежать. Я ведь не враг народа, а уголовник. Жду из Москвы помилование. Мне поручили, чтобы я следил за всеми. Если кто готовит побег, я должен немедленно сообщить начальнику.

В тот день я выпросил у старосты клочок бумаги, химический карандаш и написал домой:

«Дорогие мои, пишу последнее письмо. Когда оно до вас дойдет, меня уже не будет. Сажу в камере смертников. Нас тут много, и все мы ни в чем не повинны, сердце и совесть наши чисты. Приговорены заочно к расстрелу. Среди нас есть и те, кто с юности и до седых волос посвятил себя делу революции, сражаясь на фронтах гражданской войны и устанавливая Советскую власть. Нет никакой возможности спастись от этой ужасной, позорной и глупой смерти.

Нет больше сил, слезы высохли, сердце окаменело, голова не мыслит. Лежим на нарах и ждем своего смертного часа. А он близок. Каждую ночь здесь льется невинная кровь сыновей Отчизны. Что-то творится уму непостижимое, наносится громадный вред народу и государству. Но никто не в силах что-нибудь изменить. Почему?

Скоро для меня исчезнут свет и чувства, наступит вечная тьма.

Прощайте, отец и добрая моя мама! Прощайте, дорогие мои дети и любимая, верная жена Настя!

Ваш несчастный сын, отец и муж».

Староста обещал, если его помилуют, отправить письмо по адресу.

Настала третья ночь. Монотонно работал мотор трактора. Скоро придут за очередными жертвами.

К воротам тюрьмы подкатила чёрная легковая машина. Из палатки выскочил начальник, за ним ещё кто-то.

Через пару минут во двор вошли двое мужчин и женщина. Один мужчина в форме НКВД, другой в штатской одежде. Начальник тюрьмы сбежал за чем-то в свою палатку, наверное, за ключами, после чего все четверо пошли по камерам.

Пришли и к нам. Встали у дверей. Задали вопрос каждому, за что попал сюда, по какой статье осужден? Потом ушли в кабинет начальника. Пробыли там недолго, быстро вышли, сели в машину и уехали. Вскоре и трактор ушёл.

Всю ночь мы не спали, смотрели в щели. Но за нами с автоматами никто не приходил. Не пришли и на четвёртую, и на пятую ночь.

Больше не расстреливали. Произошла какая-то перемена.

В последующие дни нас по три-четыре человека стали выводить на уборку двора. Мы ожили: понемногу стали спать, знакомиться друг с другом, общаться. Я разговорился с одним бывшим военным. Во время гражданской войны он служил в Чапаевской дивизии, потом окончил военную академию, в последнее время служил в Белорусском военном округе командиром дивизии. Его арестовали вместе с командующим округом Егоровым. Судила их Военная коллегия Верховного суда как изменников Родины. Егорова и ближайших помощников расстреляли, остальных отправили на десять лет сюда, на Колыму.

— Мы на приисках не были, — рассказывал бывший командир дивизии. — Прямо с парохода нас доставили в эту тюрьму. На другой день по приезду половина наших были расстреляны. И меня должны были. Видимо, что-то произошло в верхах.

— А может, просто одумались? Ведь золото кому-то надо добывать, — сказал я.

— Вряд ли из-за золота, — возразил собеседник. — На его добычу они ещё найдут людей.

— А может, война началась?

— Может, — сказал собеседник.

Непонятно было и то, что одних осужденных по пятьдесят восьмой статье расстреляли сразу по прибытии на Колыму, а других — нет. Когда мы познакомились друг с другом, выяснилось, что все сидящие в камере смертников, за исключением уголовников и беглецов, которых было мало, не подписали протоколы допроса. Может быть, это было отмечено в приговоре, может, поэтому и убивали?

Прошло восемнадцать суток с той ночи, как прекратились расстрелы. На девятнадцатые сутки, в час ночи, открылась дверь камеры, вошли двое.

— Таратин, на выход!

Я спустился с нар и, как все ранее уходившие на расстрел, молча и медленно пошел к выходу. Мне стало жарко, учащённо забилось сердце, во рту стало сухо. Шёл к выходу под тревожными взглядами товарищей по несчастью и мысленно прощался со всеми. Почему-то вспомнил слова Есенина: «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».

Вывели на середину двора.

— Стой здесь!

Из другого барака привели молодого человека. Поставили рядом со мной. А сами ушли в палатку.

— Где нас будут... расстреливать? — волнуясь, с дрожью в голосе спросил товарищ.

Я сам не мог унять волнение, поэтому не ответил, а только указал рукой на кабинет начальника.

— Нет, — возразил он. — Теперь, говорят, расстреливают в другом месте. Но где — никто не знает.

Из палатки вышли наши охранники. Товарищ шепчет:

— Если выведут за зону, будем разбегаться в разные стороны. В темноте в нас не попадут.

Я не успел ответить, подошли солдаты. Нас предупредили, что при отклонении в сторону будут стрелять без предупреждения.

Один пошёл вперёд, за ним — мы, а сзади нас — второй с винтовкой наперевес.

Опасения, к счастью, были напрасными. К утру нас привели в пересыльный пункт, где находилось около ста заключенных, в основном политических. Здесь мы услышали потрясающую новость: из Москвы приезжал член правительства с заданием арестовать начальника УСВИТЛа Гаранина, который руководил расстрелами на Колыме. Гаранин арестован, увезён в Магадан. В это же время сняли и наркома НКВД Ежова.

«Так вот почему прекратились расстрелы! — подумал я, воспрянув духом. — Справедливость всё равно восторжествует. Возможно, недалек тот день, когда наступит освобождение».

Но я ошибся, до освобождения было еще далеко.

\* \* \*

Ранним утром следующего дня нас куда-то погнали. Шли напрямую через сопку, по бездорожью. Идти становилось всё труднее. Местами на сопке лежали камни, встречались густые заросли кустарников. Выпал снег, дул ветер, одеты же все были по-летнему.

Прошли километров двадцать. У многих развалились боты и галоши. Слабые стали отставать, а двое совсем обессилели, упали. Мы подняли их и по очереди

под руки повели, хотя сами еле передвигали ноги. Преодолели ещё километров пять. Очередь вести, а порой тащить ослабевших дошла до уголовников, которые были куда крепче нашего брата. Сначала они не сопротивлялись, вели и несли, а потом двое подняли одного нашего ослабевшего товарища и с силой ударили его о землю. Бедняга зашевелил губами, хотел что-то сказать, но не успел: один уголовник ударил его ногой в грудь под сердце, и тот умер на наших глазах. Подошёл конвоир, посмотрел и ничего не сказал, хотя видел, от чего умер заключённый. Уголовников заставили нести мертвеца дальше.

Спустя какое-то время добрались до одного лагерного пункта, которые в нашей среде иронически называли «командировками». Пункты эти обычно располагались в десяти, двадцати и более километрах от лагеря и представляли один невзрачный дом или барак. В «командировке» мы немного поели, выпили кипятку, отдохнули часа два и снова тронулись в путь. Мертвеца оставили. Второй ослабевший товарищ очень просил, чтобы его не тащили дальше, но конвоиры не согласились. Выбрали из уголовников самых крепких и заставили его нести. Уголовники взяли его под руки. Но только конвоир ушёл подальше, подняли, так же, как и первого, над головой, и бросили на землю. Тут один из наших, бывший военный, не выдержал и бросился к уголовникам.

— Не дам убивать человека!

Уголовники набросились на него, стали избивать, вмешались и мы. Колонна остановилась. Подошёл конвоир. Драка прекратилась. Охранник толкнул ногой лежащего на земле заключённого, а тот говорить не может, только жалобно смотрит. Его унесли обратно в «командировку», затем мы пошли дальше.

К вечеру поднялся буран, но мы уже были близки к цели: впереди показались огни лагеря. Это был прииск «Туманный». Мы пришли туда ночью, и нас долго не пускали. Наконец появилось начальство. Стали осматривать каждого с головы до ног, сортировать: здоровых в одну сторону, больных и слабых в другую. Потом нас пустили в лагерь.

Через два дня привезли зимнее обмундирование, одели, обули по-лагерному и вывели на работу.

Скоро после нас на «Туманный» прибыли ещё этапы из Хатыннаха, среди них были заключённые, выпущенные из «Серпантинки». Они рассказали, что расстреливать перестали, постепенно всех выпускают и отправляют работать на прииски. Переводят молодых и неприметных, а старые крупные ученые, военные, руководящие кадры всё ещё оставались, их судьбы неизвестны.

Первое время я работал на заготовке леса, потом меня перевели в забой грузить и возить на тачках грунт. Трудно было везде. Рабочий день — 12 часов, почти все работы выполнялись вручную. А питались, особенно зимой, очень плохо. Отдыхали по 5-6 часов. После работы, не заходя в лагерь, шли за несколько километров в лес готовить дрова. Собирали валежник, кололи и тащили на себе в лагерь. Сухих дров было мало, их отбирали для кухни. Бараки отапливались только сырыми дровами, которые плохо горели. Было очень холодно. Спали не раздеваясь. Не всегда могли просушить одежду и обувь, которую подвешивали над железной печкой в связке. Каждое утро все лучшие, сухие башмаки забирали уголовники, иногда тащили прямо из рук. Последнему и самому слабому доставалась рваная и сырая обувь.

Люди заболели и гибли от недоедания, сильных морозов, тяжкого труда, издевательств. Зима на Колыме длинная — восемь месяцев лежит снег. Мороз под

шестьдесят градусов. Иногда бывает и больше. В такие дни всегда стужается туман, в десяти метрах ничего не видно. Многие обморачивали руки, ноги, щёки, нос. Замерзали и умирали и на работе и в бараках.

Однажды утром прозвенел сигнал подъёма. Я встал и побежал за обувью в сушилку. Возвращаясь, вижу, мой сосед — писатель с Украины — лежит не двигаясь. Я стал будить его, а он не встает. Начал его поворачивать, вижу, волосы примёрзли к стенке, шапка упала на пол. Он был мёртв.

Хлеб каждое утро раздавал дневальный прямо в бараке, и мы все сидели на своих местах на нарах, иначе останешься без еды. Я сижу рядом с мертвецом, жду, когда принесут мои 200 граммов. Подошёл дневальный с фанерным подносом, дал мне пайку, потом толкает моего соседа. Я говорю:

— Он умер!

Дневальный положил хлеб обратно на поднос. Другой сосед, директор универмага, стал ругать меня за недогадливость: нужно было сказать, что он больной. Пайку бы сами съели!

Вечером возвращаемся с работы: мертвец лежит всё так же. Я сказал про него дневальному и бригадиру, чтобы убрали, но они не сделали этого. Дневальный получал лишний паёк за мертвеца, потому и не убирал. Мне в эту ночь пришлось спать с покойником на одних нарах. Его убрали лишь только после завтрака: сняли одежду и обувь, а труп выбросили голым в снег рядом с баракком.

Бригадиром и дневальными здесь тоже назначались только уголовники, которые издевались над нами как хотели. Били людей по любому поводу, особенно «врагов народа» или, как они нас называли, «оленей». Били не только кулаками, но и дубинкой. Осуждённые по пятьдесят восьмой статье звали уголовников «друзьями мудрого», сопротивления им почти не оказывали, понимая, что в случае чего никто из начальства не придёт на помощь.

«Друзья мудрого» иногда устраивали своеобразное развлечение — выход на работу без последнего. Бригадир и дневальный, вооружившись дубинками, вставали у двери барака. Как только ударят по рельсу, все должны за пять минут собраться, выбежать на улицу и встать в строй. Сделать это после ежедневного изнурительного труда было не так-то просто. Заключённые спали мёртвым сном. Тот, кто не успевал выбежать в срок, получал удары дубинкой по спине.

Помню, погнали нас зимой мыться в баню. Баня — обыкновенный барак, внутри в одном углу греют воду, в другом углу стоит деревянный чан с холодной водой. В середине печка — железная бочка из-под мазута. Пол ледяной, скамеек нет. Банщик (уголовник) сказал нам:

— Берите тазики, идите за снегом или за льдом. Речка рядом. Холодной воды нет.

Принесли мы снег в тазиках. Банщик налил нам по черпаку горячей воды. Помыли голову, руки, на грудь поплескались, и вода закончилась. Стали просить у банщика горячей воды ещё немного. Он ответил:

— Просите у начальника, он вам добавит!

Второй банщик кричит:

— Получайте белье быстрее!

Не успели получить белье и одеться, конвой у двери кричит:

— Выходите быстрее!

Вышли, стоим. Посчитали нас, погнали в лагерь.

Мороз щиплет щеки и нос, ветер свищет, все замёрзли.

Больше я не помню, чтобы мы ходили в баню. Зимой мы даже лицо и руки мыли редко. Ходили грязные, небритые, обросшие, обмороженные.

Продукты, обмундирование, технику и прочее — всё доставляли заключенные на своем горбу или трактором. В летнее время в сезон промывки золота кормили лучше, а зимой так, чтобы только душа держалась в теле.

В то время среди нас уже были бывшие работники НКВД и прокуратуры. Они, конечно, скрывали своё прошлое, понимали, что им несдобровать, поскольку уголовники ненавидели их смертельно. Помню случай, когда бандиты пронюхали об одном уполномоченном НКВД. Дело было летом. Они проиграли его в карты, затем поймали в лесу, раздели догола и привязали к дереву. Бывшего уполномоченного нашли через три дня мёртвым. Его закусали до смерти комары.

В лагере очень ценилась махорка. Её изредка выдавали только тем, кто работал в забое. Когда я там работал, тоже получал махорку, хотя сам не курил. Обменивал её на хлеб, давал товарищу по работе, который оказался бывшим прокурором. Он мне рассказал, что его заставили выдать ордера на арест своих друзей, затем вызвали в область и там арестовали самого, обвинив в укрывательстве и защите врагов народа. «Мы с уполномоченным были друзьями, — рассказывал бывший прокурор, — он говорил мне, что они хорошо знали, что арестовали ни в чём не повинных людей. Но такие указания были сверху. Не исполнять их мы не могли, ибо нас самих тогда тут же арестовали бы и расстреляли».

На махорку я выменял бумагу у дневальных, которые работали в конторе, и написал заявление в Верховный Суд и Верховный Совет СССР с просьбой пересмотреть моё дело, потому что я никакого преступления не совершал. Показал своё заявление знакомому прокурору.

— Не только вы, — сказал он, прочитав заявление, — все мы здесь ни в чём не повинны. Об этом хорошо знают и в ЦК, и в правительстве. Но пока жив этот грузинский злодей, писать бесполезно.

На другой день он всё же помог мне правильно оформить заявление, и я отправил его жене.

Бывший прокурор оказался прав. Жена получила бумагу и отправила ее по адресу: Москва, Кремль, в Президиум Верховного Совета СССР.

Через некоторое время мне в лагерь пришёл ответ: «Дело ваше пересмотрено, приговор оставлен в силе».

Прииск «Туманный» имел несколько отделений. Сначала я находился в центральном, потом меня перевели в другое, где условия жизни были ещё тяжелее. Иногда, сидя на нарах, мы рассказывали друг другу о себе.

Коренастый старик-хохол, дядя Ваня, поведал такую историю: он работал в деревне, сеял и выращивал хлеб, держал скотину, в положенное время ходил в тайгу на охоту. «Жили хорошо, ни в чём не нуждались. В 1931 году в селе организовали колхоз. Мужиков загнали в него насильно. Я отказался вступать, за это у меня отобрали лошадь, корову и выгнали из дома. Две дочери у меня были замужем, жили отдельно. Мать пошла к младшей дочери, а мы с сыном к старшей. Худо, бедно, но жили. Хлеб ели, голодными не были. Через полгода раскулаченных мужиков стали ссылать далеко от родных мест на стройки. Вместе с ними и нас. Я убежал в тайгу, а сына моего забрали. Изредка ночью тайком я приходил в деревню к старушке, скрывался неделями и больше, потом опять уходил в тайгу. С собой брал продукты, ружьё, котелок, топор, лопату и спички. Вырыл землянку и жил там. Год прожил в тайге один, потом забрал к себе и старушку. Срубил

маленькую избенку, поставил железную печку. Летом мы собирали грибы, ягоды, кедровые орехи; на грядках выращивали овощи. За мукой два раза в год уходил в деревню. Иногда охотился на зверей, птиц. Жили тихо, спокойно, никто нам не мешал.

Однажды летом, когда я возвратился из деревни, случилась беда. Подхожу, вижу: дверь открыта настежь, старушки нет, а рядом с избушкой лежат опрокинутые кадки с продуктами, пустые кастрюли, чашки. Зову её, не откликается. Я понял, что был у нас незваный гость. Обошёл кругом, оглядываюсь. Вижу: недалеко, около речушки, нагромождён старый гнилой валежник и сучья деревьев. Подхожу ближе, и в глазах потемнело, заныло сердце. Под валежником лежала мертвая моя старушка. Её разодрал медведь и забросал ветками. Медведь свежее мясо не ест. Ест только тогда, когда тело начинает разлагаться и появится запах. Старушку я притащил в избу, помыл, передел, сколотил гроб из досок, а на другой день вырыл могилу рядом с избушкой и похоронил её. Чуть позже пришел медведь. Рычит, раскидывает валежник, смотрит и не находит тело. Поворачивается и идёт к избушке. Когда зверь подошёл совсем близко, я выстрелил в него. Он громко зарычал, я выстрелил второй раз — он упал, перевернулся и всё продолжал рычать, пополз к двери. Открыл ее лапой, и у самого порога я ударил его топором по голове. Больше он не рычал и не двигался.

Я позвал дочерей. Они пришли, мы справили поминки, потом я остался один.

Зиму перезимовал кое-как, продукты у меня были, и медвежьего мяса вдоволь. Но одному в тайге было и скучно и опасно. Я стал болеть и вернулся в деревню. Сын прислал сестре письмо. Писал, что срок ссылки скоро кончается, но в деревню он не приедет, останется работать в городе. Я захотел увидеть сына. Решил ехать к нему и устраиваться на работу.

Поехал в город Бийск. Как сошёл с поезда, сразу пошёл на рынок. У меня были беличьи шкурки, решил сначала их продать. Тут меня задержала милиция, повела в горотдел, меня закрыли в КПЗ. На другой день вызвали к следователю, записали фамилию, имя, отчество, год рождения, где родился, где живу, кем работаю и адрес.

Потом следователь говорит: «Нам известно, что вас завербовала японская разведка. Скажите, какое задание вы получили? Кого убить и что взорвать?»

Я сказал: «Никто меня не вербовал, никакого задания я не получал, приехал к сыну, можете проверить, он работает на стройке».

А он своё: признавайся да признавайся!

Три дня меня пытали, не давали пить и спать, требовали признания.

Последний раз следователь даёт мне бумагу и ручку, говорит: «Вот сюда напишите фамилию, имя и отчество».

Я написал.

В кабинет заходит конвой. Следователь говорит: «Уведите его в тюрьму».

Меня увели в тюрьму и больше не вызывали. А через три дня нас погрузили в товарные вагоны и увезли.

В Находке зачитали приговор. Я был осуждён тройкой НКВД заочно по статье пятьдесят восемь сроком на 10 лет. Скоро нас погрузили на корабль «Джурма» и привезли на Колыму. В трюме корабля я встретил своего сына. Срок ссылки у него ещё не закончился, его арестовали, тоже осудили заочно тройкой НКВД по пятьдесят восьмой статье на 10 лет.

В Магадане наши пути разошлись, меня отправили сюда, а где он, я не знаю».

Такую историю рассказал нам этот несчастный старик.

Однажды после проливного дождя прорвалась плотина на речке. Заключённые работали без отдыха всю ночь. Бросали в прорыв всё, что было под руками: вагонетки, тачки, ящики, матрасы с песком, чтобы удержать плотину. Я работал почти две смены, накупался в холодной воде, после чего заболел. Десять дней пролежал в лагерной больнице.

По утрам там убирали умерших. Однажды пришли санитары, взяли и положили мертвеца на носилки. Он пошевелился и рот открыл, что-то хотел сказать, но не смог. Рядом лежащий больной спросил у санитаря:

— Вы куда его, он еще не умер!

Санитар сказал:

— Начальник лучше знает, кто жив, а кто мёртв.

Несчастливого утащили.

\* \* \*

Поздней осенью 1939 года после медосмотра больше ста человек — больных, слабых, калек — выбраковали и отправили в другой лагерь на подсобную работу. В их числе оказался и я.

Утром вышли из «Туманного». Мороз сорок градусов, снег выше колена, пронизывающий ветер. Мы все в летнем обмундировании: в резиновых галошах, в кепках, без рукавиц и бушлатов. Подгоняемые прикладами, к вечеру добрались до лагеря, обслуживающего дороги. Нас закрыли в нетопленную дырявую палатку. Охрана взяла трёх человек, пошли искать дрова. Где-то нашли, затопили стоящую в центре железную печку. Кое-как согрелись. Съели сухой паёк, что выдали на сутки, и легли отдыхать, кто на нарах, а кто на пол.

Утром приехал какой-то представитель в сопровождении трёх порожних машин. Посмотрел на нас и принимать отказался.

— В летнем обмундировании мне люди не нужны, у меня не во что их одеть! — сказал он и уехал.

А у нас ни есть, ни пить. Сидим в палатке, как в карцере.

Уголовников среди нас было человек десять. Весь день они играли в карты, а вечером решили поразмяться — обыскать «врагов народа» и «конфисковать» у них всё, что найдётся.

— Спокойно, олени! — гаркнул на всю палатку один из них — Иван Глотов, которого я знал ещё по «Туманному». — Иначе худо будет!

Мы сидели на нарах втроём. Глотов и ещё несколько ублюдков подошли ко мне:

— Деньги есть?

— Откуда?

Глотов обшарил все карманы, пощупал все складки. Не нашёл.

Рядом со мной сидел старый и седой, небольшого роста профессор Ленинградской военно-медицинской академии по фамилии Бравда. У него тоже ничего не нашли. Но один уголовник заметил золотые зубы.

— А ну-ка открой рот!

Исаак Соломонович молчит. Один из ублюдков неожиданно бьёт его по голове и хватает за горло. Второй вставил в рот палку и чем-то выдрал три или четыре зуба. Из рта старика потекла кровь.

Мы вступились было за профессора.



— Что вы делаете?! Старый человек.

Подскочили еще двое, один с ножом.

— А ну в сторону, а то живот распорем!

Кто-то стал стучать в дверь, вызывать охрану. Один из уголовников, по кличке Серый, ударил его по голове. Тот смолк. Конечно, нас было больше, но мы слабые, а они все здоровые, у них ножи.

На других нарах сидели двое заключённых. Бандиты подошли к одному из них, стали что-то отбирать, тоже схватили за горло. Сидевший рядом с ними военный ударил того, который душил. Тот отлетел в сторону. Несколько уголовников набросилось на военного. Услышала охрана.

Через некоторое время пришёл уполномоченный НКВД с солдатами. Окружили палатку, открыли дверь, стали по фамилиям вызывать уголовников. Никто не выходит. Сидят и играют в карты. Тогда в палатку вошёл уполномоченный, вытащил наган и говорит одному:

— А ну выходи!

А тот ему:

— Гад! Шакал! Мяса захотел! Да?

Уполномоченный выстрелил ему в руку. Уголовник взвыл. Вбежали четыре охранника и по одному стали вытаскивать бандитов наружу.

Больше мы их не видели. Это был, пожалуй, единственный случай, когда представители власти вступились за «врагов народа».

В палатке стало тихо.

На третьи сутки нашего пребывания в дорожном лагере привезли продукты: по четыреста граммов хлеба и по паре кусочков сахара. Накипятили два ведра воды.

Утром нас переодели в зимнюю одежду, ещё раз провели «медкомиссию». Определяли на глаз: кто покрепче — в одну сторону, кто совсем ослаб — в другую. Когда мы прощались, Исаак Соломонович мне дал свой ленинградский адрес, чтобы после освобождения я съездил в Ленинград и рассказал о нём. Сам он не надеялся вернуться домой.

В две машины посадили больных и слабых и увезли в поселок Ягодное. Остальных, в том числе и меня, тоже на двух машинах отправили на заготовку леса в лагерь «Мальдяк».

Для нас, доходяг, и эта работа была тяжёлой. Бывало, одно бревно тянем волоком по снегу, как муравьи, вдесятером. Падаем, охаем, мёрзнем. Сил нет.

\* \* \*

Заключенный Иванов — пожилой, седой — бывало, часами сидит, смотрит в одну точку, забывая обо всём окружающем. За что его осудили, никто не знал.

Зима в этом году была морозная, работали мы на дальней сопке, заготавливали дрова. Поднялся буран, метёт, воет так, что друг друга не видать. Настал вечер, темно, дороги нет. С трудом возвращаемся в лагерь. У вахты нас пересчитали, одного не хватает, быстро выяснили — нет Иванова. Пошли искать, но не нашли. Объявили его в побег.

А весной, когда вывозили заготовленные с зимы дрова, обнаружили его труп; он там же, в лесу повесился.

Хорошо знавший его по Сахалину земляк рассказывал:

«Иванов родом из Сибири, жил и работал в деревне. Первая его жена умерла рано, остались дети без матери. Женился он на другой, но мачеха с первого дня невзлюбила детей и уговаривала мужа отдать их в детдом. Он не согласился, считал для себя позором. Скоро они продали дом, скотину, собрались и уехали из села. Никто не знал, куда они уехали и где живут.

В один ясный солнечный день студент Коля, приехавший из города в свою деревню, взял у дедушки ружьё, встал на лыжи и пошёл погулять по лесу. Встретил лисицу, выстрелил, но промахнулся. Лиса уходила всё дальше и дальше в тайгу. Он двинулся за ней и зашёл далеко, потерял след, оглянулся и увидел, что лиса бежит за ним. Тогда он повернул обратно, лиса ушла в сторону, он за ней, но у дерева заметил свежий детский след. Пошёл по этому следу, пришёл к большому засохшему дереву и увидел в дупле девочку. Она замерзала, плакала. Коля помог ей спуститься с дерева, покормил и взял девочку с собой. Она была худая, одни кости и кожа.

Когда они пришли домой к дедушке, девочка рассказала, как её звать, кто её родители, из какой она деревни и как попала в тайгу.

Звали её Иринка, фамилия Иванова, из деревни Глухомань. Пошли они вместе с отцом и мачехой в лес собирать ягоду. Зашли далеко, устали, в одном месте около речушки сели и поели, потом собирали ягоды, а после разожгли костёр. Очень устали и у костра быстро заснули.

Когда проснулись, отца и мачехи рядом не было. Дети стали кричать: папа, папа! Плакали и звали отца, но он не откликнулся.

Наступил вечер, было темно и страшно. Дети прижались друг к другу, замолчали и заснули. Утром проснулись, опять кричат: папа, папа! Плакали и рыдали, но их никто не слышал. Достали из сумки хлеб, сало и поели. Пошли к речке, попили воды, потом расшевелили палкой костёр, горячие угли задымили. Понемногу костёр разгорелся. Недалеко лежали старые, упавшие от бури сосны. Наломали сучьев, время от времени подкладывали в костёр и грелись. Собирали вокруг бруснику и кедровые шишки, лежавшие на земле, питались ими. То, что было в сумке, они скоро съели, не осталось и крошки хлеба.

Почти каждый день дети слышали где-то далеко паровозные гудки, но уходить с этого места боялись, всё ещё ждали отца.

Настала осень, холодно, голодно. Девочка надела отцовскую телогрейку, взяла сумку с брусникой и кедровыми орехами, братишку Сережу за руку, и пошли они в ту сторону, где часто были слышны паровозные гудки.

В одном месте, около огромного засохшего дерева с дуплом, сели отдохнуть и поесть. Неожиданно около них появились волки. Дети испугались, закричали от страха, девочка вскарабкалась на дерево, но не успела поднять братика, волки схватили его зубами и разорвали на части. Девочка залезла в дупло и сидела так двое суток. Когда волки ушли, всё же осмелилась спуститься на землю, но постоянно оглядывалась, не вернулись ли волки. Вспомнила, что говорил дедушка: «Волки боятся огня». В кармане телогрейки она нашла спички, собрала сухие сучья, разожгла костёр и долго его поддерживала. Собрала оставшиеся от братишки косточки, выкопала ямку и похоронила. Сама дрожала от страха и холода, слёзы туманили глаза. На её счастье в лесу были брусника и кедровые орехи, ими она и питалась. Выпал снег, жизнь в тайге стала суровее, брусника и кедровые орехи оказались под снегом. И всё же она боялась покинуть это дупло, ставшее для неё защитой и от холода и от зверей.

Студент Коля сразу заявил в милицию. Стали разыскивать отца и мачеху, но те как в воду канули!

Коля уехал в город учиться, Иринка осталась с дедушкой и бабушкой. Они сказали, что она теперь будет им внучкой. Так она и жила с дедушкой и бабушкой до семнадцати лет, окончила десять классов. К этому времени Коля получил диплом Иркутского юридического института и приехал в деревню к дедушке. Молодой человек полюбил Иринку, женился на ней и увёз её с собой работать по направлению в Южно-Сахалинск. Работал он следователем прокуратуры.

Однажды Коля пришёл домой и говорит:

— Иринка, собирайся, сегодня будем обедать в ресторане!

Та быстро оделась, и они отправились в ресторан.

В это время по залу проходила директор этого заведения. Коля и говорит Иринке:

— Посмотри, кто идёт.

Она посмотрела и вздрогнула. Она узнала мачеху.

— Спокойно, не показывай вида, что ты её знаешь, — шепчет на ухо Коля.

Позже он нашёл и отца Иринки, который работал помощником начальника милиции.

Молодые люди пообедали и ушли. А вскоре получили приглашение на новогодний вечер, который проводили в том же ресторане. Там были руководящие работники и начальники с жёнами. Сели за столы. Почти напротив Иринки сидели её отец и мачеха. Подняли бокалы с вином и поздравили друга с Новым годом, с новым счастьем. Немного погодя Коля поднялся со стула, высоко поднял бокал с вином и громко сказал:

— Я поднимаю бокал и пью до дна за несчастных детей, которых бросили отцы и матери!

Выпил и сел.

Отец Иринки и мачеха посмотрели друг на друга и покраснели. Отец тут же встал и хотел уйти...

Вскоре его и мачеху арестовали. Потом их осудили и отправили на Колыму.

Видно отца все-таки мучила совесть, что он бросил своих детей в лесу на погибель, он повесился».

В «Мальдяке» моим соседом по нарам был бывший профессор Киевского университета по фамилии Иваницкий. Умный, высокообразованный человек. Преподавал украинский язык и литературу. Любил петь, особенно украинские песни. Учил петь и меня.

К профессору приходил его земляк, бывший архитектор. Звали его Михайло. Тот все расхваливал Киев, с упоением рассказывал про Крещатик, про Киево-Печерскую Лавру, приглашал меня после освобождения в гости, чтобы я убедился в красоте и неповторимости столицы Украины.

Вскоре у профессора Иваницкого обострилась цинга, его положили в санчасть. А через пару дней, не зная об этом, пришёл Михайло с товарищем. Им оказался бывший командарм дивизии Александр Горбатов. Посидели, поговорили. По поводу войны Горбатов говорил: «Война неизбежна, только как будем воевать, когда все высшие военные командиры, специалисты по военным делам — арестованы и расстреляны? Многие командиры дивизий и полков сидят в тюрьмах и погибают в лагерях».

Александр Васильевич пожаловался, что у него опухли ноги, и ходит он с трудом.

Спустя несколько дней всех обмороженных, больных и слабых отправили в Магадан, в инвалидный лагерь. Увезли и бывшего комдива Горбатова. А Иваницкий умер. Многие тогда умерли...

Потом нас, доходяг, отправили в посёлок Ягодный.

Только через двадцать лет я узнал о судьбе Горбатова, когда прочитал его книгу «Годы войны». Его освободили досрочно в 1940 году. Он был участником Великой Отечественной войны, воевал от начала и до конца. Командовал армией.

\* \* \*

Посёлок Ягодный в моей жизни на Колыме был отдушиной, своего рода курортом. Жестокая судьба вовремя смилостивилась, ибо я вряд ли бы перенёс дальнейшие страдания, поскольку к тому времени очень ослаб, имея «бараний вес», начал терять волосы и зубы.

Первые строители выбрали для посёлка красивое и удобное место: берег реки Дебин. Река широкая, метров сто, а весной разливается до нескольких километров. Кругом высокие сопки, покрытые лесом. На сопках и на склонах растёт стелющийся кедр — стланик. Летом на сопках и в долинах полно брусники, морошки, клюквы, голубицы, оттого и название посёлка — Ягодный.

Там находились два лагеря: дорожный и подсобных предприятий. Мы попали во второй, который насчитывал человек семьсот; лагерь обслуживал витаминную фабрику и лесопильный завод. В посёлке имелись магазин для вольных, начальная школа и несколько одноэтажных зданий, где жило начальство и вольнонаёмные со своими семьями.

Зимой мы работали в лесу на сопках — доставали из-под снега кедровую хвою и сдавали на витаминную фабрику (там из неё вырабатывали экстракт особого запаха и вкуса против заболевания цингой). Экстракт отправляли по приискам, где его давали заключённым пить перед обедом. Но толку от лечения не было, люди всё время болели.

В первые дни на работу ходили под конвоем, а потом конвоиры сопровождали нас только до окраины посёлка. Не было охраны и на работе. Это доверие в какой-то мере раскрепощало наши души, у людей помаленьку возрождалось чувство человеческого достоинства.

По посёлку многие из нас ходили, как пришельцы с другой планеты. Здесь впервые за последние годы мы увидели людей, живущих семьями, женщин и детей, магазин и начальную школу. Меня, бывшего учителя, особенно волновали школа и дети. В памяти всплывали картины школьной жизни, мои ученики, друзья по работе и, конечно, жена Анастасия Андреевна, тоже учительница, и тоже любящая свою работу. Вспоминался старший сын Лёва. Как он там учится? А младшему ещё далеко до школы.

В один из первых дней нашего пребывания в Ягодном в лагерную столовую пришёл среднего роста мужчина лет сорока, в военной форме.

— Зайков, — шепнул кто-то из старожилов. — Начальник лагеря.

Мы примолкли, уткнулись в свои миски. Думаем, сейчас начнётся: «Ну, что, враги народа? Только бы жрать, а работать вас нет!»

Начальник лагеря прошёл по рядам, посмотрел, что мы едим. Некоторые из нас по привычке сидели в шапках.

— Образованные люди, а за столом в головных уборах, как татары, — укоризненно сказал он. — Нехорошо.

Все были удивлены этим замечанием и разом поснимали шапки.

Зайков ничего больше не сказал, ушёл на кухню.

— Смотри, какой культурный, — с ехидством сказал кто-то за столом.

— Не надо так, — ответил кто-то. — Начальник лагеря — человек, каких поискать. Вы его ещё не знаете.

Действительно, мы не знали Зайкова — простого русского человека, не потевшего голову и человечность в этой странной, никому не понятной кутерьме. Таких начальников ни до, ни после Ягодного я не встречал. Зайков никогда не называл нас врагами народа, не помню, чтобы он когда-нибудь ругал, унижал, наказывал заключённых. Наоборот, относился к нам с сочувствием. И что характерно, дисциплина в лагере от этого ничуть не страдала. Два раза в месяц мы ходили в настоящую баню с хорошей парной. Невольно вспоминались другие лагеря, где заключённые мылись раз-два в год, в холодных банях и с нехваткой воды. Зайков и сам ходил мыться в нашу баню.

Всю зиму мы работали на сборе кедровой хвои. Работа была довольно лёгкой. Кедр-стланик — вечнозеленое растение, растёт в виде кустов высотой три-четыре метра. В начале зимы он веером склоняется к земле, затем его ветки полностью покрываются снегом, и он ложится в зимнюю спячку, как медведь. Зимой стланика не видно, он весь под снегом, остаются одни бугорки. Чтобы достать хвою, надо прощупать ногой такой бугорок, найти ветку и отрубить. Потом только вытаскивай ее из-под снега и тереби. Иглы хвои, между прочим, покрывающие ветку от начала до конца, длиной более десяти сантиметров. На ветках мы находили и орехи в шишках. Орехи мельче, чем у сибирского кедра, но тоже вкусные. Они служили нам дополнительным питанием.

Однажды мы с напарником поднялись на сопку и забрались вглубь леса, где нашли замечательный стланик, хвоя у него пушилась, как лисий хвост.

Набили мешки и собрались было идти обратно в лагерь. И тут я вдруг провалился в какую-то яму. Подо мной что-то зашевелилось, кто-то приподнял меня, как сучок валежника, и выбросил наверх. Я оглянулся — из-под снега выползал медведь! Мы с напарником мешки побросали и что есть духу рванули вниз по тропинке. Пробежали, наверное, с километр. Оглянулись: медведя позади нет. Мы остановились, еле-еле отдышались и не спеша пошли в лагерь.

Пожилой мужик, бывший забайкальский партизан, говорит нам:

— Хорошо, что успели убежать. Потревоженный медведь в спячку больше не ложится. Он голодный, будет бродить, искать еду. Если встретит человека, нападет и разорвёт.

Охрана нам не поверила, повели нас на сопку обратно. Пришли, кричим:

— А ну, мишка, вылезай! Гости пришли.

Никакого звука. Взяли палку, поворошили берлогу, медведя там не было. Мы взяли мешки и вернулись в лагерь. Солдаты пошли по медвежьему следу и пристрелили шатуна.

«Везёт мне на мишек, — сказал я по дороге напарнику. — Во время побега чуть ли не носами с одним столкнулись».

И я рассказал про первую встречу с медведем.

Напарник посмеялся над моим рассказом, сказал, что нам повезло. Если бы зверь побежал за нами, то спустил бы штаны с обоих.

Мой напарник был неплохим человеком. Добросовестным работником, с чувством юмора, но сильно истощённым. Вскоре его не стало.

В тот день наша бригада работала в лесу у подножия сопки. Стемнело. Все ввалили на спины мешки с хвоей и по многочисленным тропинкам направились к шоссе. Я оглянулся: мой друг пошёл не за мной, а другой тропинкой.

Друг за другом мы подошли к воротам лагеря, вахтеры стали нас считать. Одного нет. Стали проверять — нет моего друга, бывшего механика на корабле дальнего плавания Алексея Омельченко. Бригадир, я и двое из охраны отправились в лес на поиски. Пришли на место работы — его нет. Стали искать на разных тропках. Иду я и вижу, в стороне на тропинке что-то чернеет. Подошёл ближе, смотрю: мешок с хвоей, а под ним лежит мой друг. Я позвал остальных. Пришли, послушали, пощупали. Напарник был мёртв.

Условия жизни в лагере были во всех отношениях лучше, чем на приисках, но заключённые умирали почти ежедневно. Дело в том, что в Ягодное были направлены самые измотанные на добыче золота люди. Многим уже не помогали ни работа полегче, ни улучшенное питание, ни витамины, ни медпункты с санчастью, которые имелись в лагере.

К весне у меня сильно заболела рука. Меня оставили работать в лагере, назначив помощником могильщика. Моим начальником был уголовник Сергей, прозванный Краснушкиным за грабёж на свободе красных товарных вагонов. Я проработал с ним всего три месяца, но этого времени мне хватило, чтобы посмотреть, сколько нашего брата ложилось в колымскую землю.

Заклужённые умирали почти ежедневно, но хоронили их не каждый день. После смерти с мертвецов снимали бельё, взамен через голову надевали старый мешок и выбрасывали труп за барак санчасти. Когда накапливалось три-четыре трупа, тогда и хоронили всех разом. Нам давали лошадь с санями. Мы клали трупы на сани и увозили на кладбище. Копать могилы было тяжело, земля мёрзлая, зимой и летом. Рубили на сопке сухостой и разжигали костёр. Земля оттаивала под костром сантиметров на 20. Мы углублялись, потом опять подкладывали дрова и зажигали, земля оттаивала ещё. Так делали три раза, чтобы выкопать ямку глубиной 60-70 сантиметров, глубже копать было невозможно. Хоронили по одному и по два человека. Вместо креста ставили небольшой столбик, где записывали фамилию покойного.

После похорон мы всегда возвращались поздно. Сергей не хотел в третий раз разжигать костер, он готов был зарыть могилу как попало и быстрее идти в лагерь. Правда, разжигать костёр на морозе было нелегко. Десятки спичек израсходуешь, кончики пальцев побелеют, пока разгорится. Потом стоишь над огнём, отогреваешь заочневшие пальцы, вдыхаешь тёплый воздух.

Само кладбище представляло удручающее зрелище: многие столбики упали, могилы провалились. Из одной торчат ноги мертвеца, из другой руки или голова. Волки вытаскивали трупы из могил, разгрызали их, оставляя обглоданные скелеты.

\* \* \*

Шофера, ездившие в Магадан, рассказывали, что в бухту Нагаево прибыл караван судов с заключёнными и аммоналом для взрывных работ. Не дождавшись выгрузки, по неизвестной причине корабли взорвались и утонули в море, погибло много людей. Огонь охватил всю бухту. Был огромный пожар, всё, что было на берегу, сгорело. После этого в течение двух лет в лагере привозили исключительно

горелую ячменную муку, а в хлебе часто попадались комочки земли, угля и другие примеси. Ходили слухи, что корабли были взорваны по приказу.

\* \* \*

Долгое время я ничего не знал о своей семье. И вдруг меня вызывают на вахту, дают посылку и письмо от жены. Тут же, на вахте, я его прочитал. В душе возникло двойное чувство: с одной стороны, я был рад, что все живы и здоровы, а с другой... Жена писала, что после окончания учебного года она выехала на родину, но живёт так же очень трудно, в постоянном страхе и тревоге. Сменила несколько мест работы, и не по своему желанию: как только узнают, что муж враг народа и находится в заключении, сразу же увольняют. Директора школ бояться, как бы их не обвинили в сочувствии семье врага.

Я возвращался в барак в расстроенных чувствах. Навстречу мне шел начальник лагеря Зайков. Подтянутый, стройный, в форме НКВД. Остановился возле меня.

— Что такой невеселый? Посылка пришла, радоваться надо.

— Какая тут радость, гражданин начальник, — отвечаю. — Письмо домой не на чем написать.

Зайков внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Зайдите завтра после работы ко мне. Я скажу, чтобы вас пропустили.

— Хорошо, — говорю, — приду. Спасибо.

На этом расстались.

А на другой день, вечером, я пришёл к нему в кабинет. Он уже ждал меня. Дал бумагу, ручку. Прямо в кабинете я написал жене, чтобы она крепилась, растила детей, старалась, переносила невзгоды; пройдёт время, и всё встанет на свои места. Словом, успокоил, как мог.

Показал письмо начальнику. Он бегло пробежал написанное глазами и сказал:

— Правильно мыслите, Таратин. Идите. Письмо мы отправим по адресу.

Он сдержал своё слово. Жена письмо получила.

В летнее время мы собирали ягоды и сдавали на витаминную фабрику. Там варили компоты и варенье. Мне ни разу не довелось попробовать ни то, ни другое. В начале сезона мы собирали морошку, голубику, бруснику и шиповник. Больше всего — бруснику. Ее было на сопках так много, что брали полными горстями. Набирали по 2-3 ведра за день, и сами были сыты. Работа была лёгкая, чувствовали мы себя намного свободнее. На одних сопках находили бруснику крупную, сладкую, величиной с вишню. В других местах ягода была мелкая и кислая. Норму выполняли все. За невыполнение нормы грозили карцером.

На работу уходили рано, а возвращались после заката. В конце сезона работать становилось труднее, потому что приходилось уходить на дальние сопки. Но всё же мы немного поправились за лето. Хлеба никогда не хватало, поэтому изредка мы брали с собой вязанку дров и выменивали на хлеб у вольных в посёлке.

В этом лагере мы жили в полной изоляции от внешнего мира. В бараках не было ни радио, ни газет и журналов. Долгое время мы ничего не знали о том, что происходит в мире, и как живут наши семьи, нас никогда не покидала тоска по родным, по дому. О начале войны с фашистской Германией мы узнали случайно. Один наш товарищ, бывший работник посольства в Голландии, Давыдов, был дневальным на лагерьной радиостанции, и там услышал сообщение Информ-

бюро. Эта новость была предметом долгих обсуждений, размышлений и споров. Высказывались различные мнения. Одни говорили, что скоро на Колыму придут японцы, и мы окажемся в плену. Другие говорили, что если японцы сунутся, то нам дадут оружие, и мы будем защищать родину. Некоторые опасались, как бы нас не перестреляли свои же. Но были и дальновидные оптимисты, они говорили, что японцы хотя и рядом, но сюда они не придут. Побоятся. Да и американцы этого не допустят. Ведь Аляска недалеко, они в любое время могут прийти к нам на помощь.

В Ягодном за два года жизни я познакомился со многими людьми, все они были намного старше меня. Мы вместе работали и спали в одном бараке. Друг к другу относились с уважением и часто после работы сходились вместе, обменивались новостями, кто что слышал, или просто рассказывали о себе, как жили раньше, кем работали. Это меня очень поддерживало.

Первым моим знакомым и старшим другом был полный седой старик Леонид Симонович Ваксман — бывший военный атташе в США. Общался со мной и высокий худощавый Сарабян — бывший военный заместитель наркома внешней торговли СССР. Как сейчас помню: он получил из дома посылку и дал нам по кусочку селёдки и сухарей. Слова его я тоже запомнил. Он сказал, что Сталин перепутал своих и чужих. Павел Погодин — бывший секретарь обкома комсомола — читал наизусть стихи Пушкина и поэму Лермонтова «Демон». Помню Франца Иосифовича — бывшего редактора одного из журналов ЦК ВКП (б); он был всегда задумчивый, малоразговорчивый. Пивковский — бывший командир Красноярского полка — рассказывал о наших героях войны и о военных манёврах.

Леонид Симонович рассказывал, как очутился на Колыме. До революции он окончил Академию Генерального штаба, служил сначала в царской армии, а в 1917 году перешёл в Красную Армию. Сначала работал в Генеральном штабе, затем стал советским военным атташе в США. Однажды он получил телеграмму из Москвы за подписью Ворошилова. Ему было предписано срочно явиться на совещание в Кремль. А жил он в Америке один, жена и дочери оставались в Москве. Он с радостью поехал домой в надежде встретиться с родными. Летел самолётом до Осло, а оттуда — в Ленинград. Из Ленинграда поездом до Москвы. Домой не успел заехать, с вокзала поехал прямо в Кремль. Там шло совещание, на котором присутствовали Сталин, Ворошилов, Молотов, Будённый и все высшие военачальники. Выступили Ворошилов и Молотов. Ворошилов сказал, что в мире группируются две силы, одна — Германия, Италия и Япония, и вторая — Америка, Англия и Франция. Советский Союз должен сделать выбор, с кем быть: с Германией или с Америкой. Выступил Молотов, который только что вернулся из Берлина, где у него были переговоры с министром иностранных дел Германии Риббентропом. По словам Молотова, германское руководство предлагает СССР передел мира, Гитлер хочет создать Соединённые Штаты Европы.

Всем присутствующим на совещании велели готовиться к выступлению, установили регламент и объявили перерыв. После стали выступать по очереди. Многие высказывались против дружбы с Германией. Выступил и Ваксман. Сказал, что Америка, Англия и Франция экономически сильнее и внушают больше доверия. Германии и Японии нужны новые территории, и ещё неизвестно, в какую сторону они будут расширять свои владения. В заключение сказал, что дружить нужно с Америкой.

На этом совещании не было принято никакого решения. Ворошилов закрыл собрание, и все разошлись. При выходе из Кремля Ваксману предъявили ордер



на арест. Его и ещё пятерых, которые выступали против сближения с Германией, посадили в «чёрный ворон» и увезли на Таганку. Там предъявили обвинение по пятьдесят восьмой статье, два раза вызывали к следователю и предлагали подписать протокол допроса. Он оба раза отказался.

В начале войны некоторых военных этапировали в магаданскую тюрьму, в их число попал и Ваксман. Так он оказался на Колыме.

В тот день Леонид Симонович заболел — стало плохо с сердцем. Его оставили в бараке вместо дневального. А вечером его увели под конвоем. Ваксман увидел меня, приостановился, обнял и сказал:

— Илья, куда меня повезут, я не знаю. Если останешься в живых, съезди в Москву, расскажи всё, что знаешь...

И назвал свой домашний адрес.

После освобождения в 1949 году я съездил в Москву, разыскал квартиру Леонида Симоновича, но дома никого не застал. Соседи сказали, что жена Ваксмана тоже была арестована, и где она, никто не знает. Обе дочери вышли замуж и куда-то уехали. Сам Ваксман не вернулся.

Мы жили в «командировке» на берегу реки Дебин. Рядом проходило главное колымское шоссе, по которому возили грузы и этапировали заключённых. Однажды ночью в барак ворвалась охрана и произвела обыск. Перевернули всё вверх дном, но ничего не нашли. Перед уходом вскрыли пол около железной печки напротив меня и нашли под полом четыре килограмма муки, завернутые в тряпку. Забрали меня, моего соседа и ещё двоих с другой стороны прохода.

Чья это мука и кто её спрятал, мы не знали. На допросе нас избивали, подвели к берегу реки и загнали прикладами в ледяную воду (как раз был ледоход). Стоим по пояс в воде, льдины толкают в бока, стоять невозможно. Винтовки нацелены на нас, начальник охраны кричит: «Чья мука? Кто спрятал?». Отвечаем, что муки у нас никогда не было и нет. Кто спрятал, мы не знаем. Нам не верят. Кричат: «Не признаетесь, будем стрелять!» Нас лихорадит, схватывают судороги, с трудом держимся на ногах, некоторые стали падать, тонуть. Только тогда нам приказали выходить из воды. Вышли, стоим: дрожим, зубы стучат, говорить не можем. Нас повели и закрыли в карцер. Я всю ночь прыгал на одном месте, немного согрелся, и это спасло меня от воспаления лёгких. Днём приехали начальник лагеря и фельдшер. Нас выпустили, измерили температуру. Двоих увезли в лагерь, в стационар. Одного спасли, а второй умер от воспаления лёгких.

Позже мы узнали: наши же уголовники ночью вышли на дорогу, и один из них незаметно заскочил на подъём в кузов машины и сбросил мешок с мукой. Мешок они где-то спрятали, немного муки принесли в барак и положили под пол. Потом втихомолку тряпали лепёшки и сами ели, ни с кем не делясь.

\* \* \*

На второе лето нас, группу осуждённых по пятьдесят восьмой статье, отправили километров за сто от лагеря на берег Колымы собирать ягоды для витаминной фабрики. Помню, там была красивая и богатая природа, местами очень похожая на природу средней полосы России. По берегам Колымы росли ива, черёмуха, рябина, берёза. Острова были полны шиповника, малины, дикого лука. Наша палатка стояла на берегу речки, впадающей в Колыму. Неподалёку располагался женский лагерь, входивший в совхоз «Эльген». В трёх его отделениях работало

пятнадцать тысяч заключённых-женщин. Они заготавливали дрова, разрабатывали торф и целину, на которой сеяли овёс и ячмень, выращивали редис, картофель, капусту, брюкву. Лето было хотя и тёплое, но короткое, поэтому ничего не созревало. Не зря поётся в песне о том, что на Колыме «девять месяцев зима, остальное лето». Но и такие овощи, иногда с листьями и корнями, были позарез нужны для многочисленных лагерей. Женщины были со всех концов Советского Союза, старые и молодые. Среди них жёны бывших военных, партийных работников, учителя, врачи, артистки и рядовые колхозницы. Все они были осуждены по пятьдесят восьмой статье. Узнал я об этом так.

Как-то возвращался с сопки с полной корзиной брусники, подошёл к опушке леса, вижу — навстречу выходят две девушки. Остановились, с удивлением смотрят на меня, а я на них.

— Здравствуйте, — опомнился я. — Откуда вы?

— А вы откуда? — прозвучало в ответ.

Я объяснил, как мог.

— Вы можете сократить дорогу, — сказали они. — Идите через нашу поляну. Пойдёмте, мы покажем тропинку.

Мы вышли на большую поляну, на которой заключённые-женщины убирали сено. Увидев меня, они перестали работать, оглянулись по сторонам. Одна, стоявшая чуть дальше, громко сказала:

— Ага, патруль!

Агой звали одну из девушек, что привела меня на поляну. Она крикнула мне:

— Быстро к копне!

Прижав корзину к животу, я присел возле копны, девушки забросали меня сеном. Через минуту послышались мужские голоса, это были охранники. Они топтались немного, прикрикнули на женщин, чтобы работали веселее, и удалились. Минут через десять сено с меня убрали.

— Если бы увидели вас здесь, забили бы до смерти, — сказали девушки.

Мы познакомились. Я рассказал о себе, а они о себе. Ага на воле была учительницей, родом из Минусинска. В 1937 году окончила Красноярский пединститут. Сначала арестовали её отца, который работал в обкоме партии, его обвинили в национализме. Затем арестовали и её. В Находку, как выяснилось, мы прибыли в одном эшелоне. Её подруга Таня была из Новосибирска, успела закончить 10 классов. Её осудили за чтение запрещённых книг — стихов Есенина. Неподалёку от копны отдыхала старушка и курила трубку. Я спросил, кто она.

— Бывший секретарь Бурятского обкома партии, — сказала Ага.

Ага рассказала о своём лагере. Там сидело много женщин, которые в политике вообще не разбирались, а были они самыми настоящими труженицами, крестьянками. Они считали, что их привезли сюда бесплатно работать. Трудились они честно, так же, как в своём колхозе или на фабрике, но хлеба досыта не ели. Были среди них и женщины с детьми. Детей они рожали во время этапа и уже здесь, на Колыме. Много ребятишек умерло, а те, что остались в живых, находились в совхозном садике. Знающие люди говорили, что среди этих детей находится и дочь Григория Зиновьева.

Последние два дня женщины работали совсем рядом с нашей палаткой на берегу Колымы. Они сушили, собирали сено и укладывали его в скирды, так же, как это делали на родине. Охрана около них не торчала, и мы разговаривали с ними свободно. Бригадир — стройная немолодая женщина — рассказала, как её арестовали.

«В молодые годы я была в отряде партизан в Забайкалье. Потом вместе с отрядом перешла в армию Блюхера. Когда Краснознамённая особая дальневосточная армия Блюхера прогнала японцев с нашей земли, мы вернулись домой. Были у меня награды за храбрость и отвагу. Скоро я вышла замуж за командира, с которым вместе партизанила. Жили мы в Хабаровске. Мужа сразу взяли на партийную работу, а я работала на фабрике. В 1937 году ночью к нам домой пришли два сотрудника НКВД и арестовали мужа. Я их спросила: «Что он натворил, за что вы его арестовываете?» Они сказали, что не обязаны мне отвечать, придите в отделение, там вам всё объяснят. Они говорили на повышенных тонах, в руках у одного был наган. Он торопил мужа, не разрешал нам разговаривать. Я вспыхнула, повысила голос, сказала ему: «Уберите оружие, не пугайте, мы вороны пуганные ещё в двадцатом году японцами. Как вы смеете так обращаться с нами? Мы оба старые члены партии, бывшие добровольные партизаны и воины армии Блюхера, с оружием в руках воевали за Советскую власть!..» Они мне отвечают: «У нас ордер на арест, выданный прокурором, мы исполняем свою обязанность».

Мужа забрали. На другой день я пошла в райком партии. Там мне сказали, что отчаиваться не надо. Во всём разберутся. Если муж невиновен, его отпустят. Тогда я пошла к начальнику НКВД. Сказала ему: «Арестовали моего мужа, ни в чём не повинного старого большевика, секретаря парткома. Прошу его освободить». Начальник спросил у меня: «Ты тоже была в армии Блюхера?» Я ответила: «Да, была, вместе с мужем». Начальник ничего мне больше не сказал. В кабинет зашёл конвой, меня увели и закрыли в КПЗ. Я сопротивлялась, кричала, пыталась отнять наган у конвоира, но их было двое, и я не смогла ничего сделать. А надо было пристрелить самого начальника НКВД и прокурора. Потом были допросы, пытки и — Колыма. Про мужа я ничего не знаю, только в тюрьме говорили, что его расстреляли. Меня обвинили в том, что Блюхер был изменник, а мой муж участник заговора, а я об этом знала и не донесла куда следует. Ещё добавили, что при аресте я сопротивлялась и пыталась отнять у конвоя оружие».

В одном месте на полпути от Колымского моста был ещё один женский лагерь с особым режимом. Заключённые женщины жили за колючей проволокой под усиленной охраной, они разрабатывали в болоте торф.

После сбора ягод мы заготавливали и сплавляли лес по реке для лагеря. Пилить ручной пилой дерево с корня и валить деревья — работа не из лёгких. Нужно уметь тянуть пилу, иметь для этого силы, а силы-то и не было. Приходилось несколько раз останавливаться, чтобы распрямиться и малость передохнуть, пока свалишь одно дерево. Трудно было перекачивать бревно к берегу, мешали пни и кустарник. Ещё труднее было гонять плоты по речке. На ровных местах, где течение тихое, это было не трудно, даже интересно. Но на порогах плоты дыбились, а порой разбивались о камни.

Однажды нам с напарником Сергеем пришлось гнать плот. Сначала мы плыли легко и тихо. Потом показались пороги, течение стало быстрее, и мы, не проскочив порог, сели на подводный камень. Долго мучились, погрузились по грудь в холодную осеннюю воду. Приподнимаем один угол плота, а второй не двигается, крепко сидит на камне. Мы дрожим от холода, все мокрые, залезли на плот, перебрались на один конец, стали раскачивать, качали-качали, и всё ж раскачали, плот сдвинулся с места. Плывём дальше, впереди показалась отвесная каменная скала, река в этом месте была бешеная. Нас несёт как щепку, не плывём, а летим. Держать плот ровно невозможно, на повороте он ударился о

скалу, и нас тоже выбросило на неё. Ушиблись мы крепко, а плот остался кружить в водовороте.

Перед нами также погнали плот, который разбился на том же месте. Один заключённый упал в воду и не смог выплыть. Его долго искали, но так и не нашли. К вечеру мы всё же вытащили свой плот из водоворота и поплыли дальше. А третий, что плыл за нами, сел на первом же пороге, вытащить его мы не смогли, бросили и пришли в лагерь пешком.

После этого случая сплавливать плоты перестали. Организовали молевой сплав леса, который немного облегчил наш труд, но мы всегда были мокрые, многие болели.

Утопленник с первого плота через некоторое время всплыл на поверхность и крутился вместе с брёвнами. Мы его вытащили и похоронили на берегу под лиственницей.

За два года в Ягодном я и многие мои товарищи поправили здоровье. После очередной комиссии нас перебросили на прииск «Нехай».

Прииск был небольшим, находился в долине между сопками неподалеку от Ягодного. Дороги не было. Технику завозили на тракторе, а всё остальное на горбу заключённых. У подножия сопки — пасмурный лес, а вдали — пламенеющие по утрам гребни гор. Они безмолвны и равнодушны к нашему неутешному горю. Золото в «Нехаете» лежало прямо под ногами. В первые годы мы добывали его очень много, хотя все работы, как и на других приисках, выполнялись вручную. Воды здесь не хватало, подавали только насосом, струя была слабая, не могла уносить промытую породу. Мы отбрасывали её лопатой, с утра до вечера. Часто не успевали отбрасывать, от изнеможения падали. А потом золотая жила ушла под сопку. Добыча становилась все меньше и меньше, прииск не выполнял план, отчего начальство, охрана и уголовники зверели.

— Давай! Давай, твою мать! — только и слышалось со всех сторон.

Издавались на каждом шагу. Работать заставляли всё больше, сажали в карцер, лишали горячей баланды и каши. Дневную и ночную смену производили в забое, чтобы рабочий день не терялся, а заключённый не мог отдохнуть лишний час. Издавались не только над живыми, но и над мёртвыми. Хоронили, как скотину. Умерших волокли по земле (по грязи, по снегу) и бросали по несколько человек в яму, которую немного забрасывали мхом и промытым песком.

В результате длительного неполноценного питания, от недостатка белков, жиров и витаминов — происходили атрофические, дегенеративные изменения в печени, сердце, костях. Многие болели от холода и голода, страдали от побоев, дизентерии. Некоторые лежали с обмороженными руками и ногами, другие стали «доходягами», работать тоже не могли, их был полный барак. А те, кто ещё держался, кое-как ходил добывать золото, были как призраки: грязные, обросшие, кожа да кости, мешки под глазами, обвислые щеки, распухшие губы, из десен сочится кровь, в глазах — страдание. А тут:

— Давай! Давай, твою мать!

И дубинкой по спине. Стоим, бывало, по колено в грязи и отбрасываем грунт лопатой в сторону, липкая грязь не отстает от лопаты, откинутая постепенно вползает обратно, нет больше сил не только работать, но и выбраться самому из темной жижи. Люди теряли всякую надежду на спасение. Интеллигенты погибали раньше других.

Нары в бараках были сплошные, спали так тесно, что повернуться на другой

бок было невозможно. И все как легли, так и засыпали. Уголовники не дремали, по привычке обыскивали каждого спящего, ощупывали карманы, складки подкладок бушлата и брюк. У меня в рукаве бушлата были защиты копия приговора и фото жены и детей. Нашли, вытащили.

Каждый из нас думал, что лучше бы погибнуть на фронте, защищая Родину, чем в этом аду. Но на фронт никого не брали.

Кое-кто не выдерживал, калечил себя с целью добиться перевода в лагерь инвалидов и остаться в живых. Особенно мастера на это были уголовники. Они ели мало, чтобы создать видимость заболевания дизентерией, протыкали руки гвоздями и вливали керосин, чтобы опухли, пили очень много солёной воды, после чего нарушалась работа сердца, набухали ноги, под глазами образовывались мешки.

Здесь в лагере я встретил пожилого земляка из Чувашии, звали его Родион Герасимович. Рядовой колхозник. Его арестовали за то, что в разговоре с людьми он сказал, что живет плохо, семья большая, хлеба не хватает. Трудодни, мол, у меня есть, но трудодни есть не будешь, а хлеба дают мало. Осудила его тоже тройка НКВД, заочно, по пятьдесят восьмой статье сроком на десять лет. Как сегодня помню его переживания, тоску по родине. Первая жена его умерла, он женился во второй раз, а через три дня его арестовали. Дома остались четверо детей: три дочери школьницы и пятилетний сын. Часто он сидел один в стороне с поникшей головой, плакал, вспоминая своего маленького сына. И приговаривал: «Вася ты мой, Вася несчастный, с кем же ты теперь, что с тобой будет...» От тяжелой работы, от недоедания и от болезней он быстро ослаб, как и все старики. Положили его в стационар, там он и умер.

В «Нехае» моим соседом был Яков Кузьмич Сидоренко — бывший заместитель наркома земледелия в Туркмении. Рассказывал, что его тоже заставляли подписать ложный протокол допроса, всяко пытали. Затворили в «колодець», где невозможно было двигаться и повернуться, воздуха не хватало, сверху на голову капала вода. Из кабины вытащили, когда он потерял сознание, но протокол всё равно не подписал. Осудила его тройка НКВД по пятьдесят восьмой статье на 10 лет. За вредительство.

Яков Кузьмич был человек крупный, солидный, и скоро его назначили бригадиром. Я в это время уже ослаб, плохо передвигался. Всё думал: что мне делать? Как остаться в живых? Он мне говорил: «Илья, держись, не падай духом! Ты ещё молод, будешь жить, а дракон все равно подохнет раньше нас».

Когда я заболел — Яков Кузьмич меня оставил в бараке дневальным. Он никого не оскорблял, не ругал.

Однажды к нам зашёл врач и сообщил новость: прииск наш будут закрывать, людей отсюда вывезут. В первую очередь тех, кто способен работать, а доходяги пока останутся. Врач положил меня на неделю в стационар для поправки, а после выписки взял к себе дневальным. Приехала комиссия: покалеченных без рук и без ног отправили в инвалидный лагерь, больных дизентерией и цингой отправили в больницу «Беличья». Меня перевели на другую работу. Сначала я таскал и укладывал в штабеля доски, а потом переправили на локомотив, который давал энергию для лагеря. Работали трое: машинист, дровокол и я, кочегар. Древесину таскали на себе из леса, она была сырая и плохо горела. Машинист всё время злился и ругался, особенно когда дровокол не успевал раскалывать дрова, и не мог держать нормальное давление.

Дровоколом у нас был немолодой грузин, тоже «доходяга». Однажды в спешке

он промахнулся и топором разрубил себе ногу. Кровь потекла ручьем, он упал на землю. Мы с машинистом сняли с него рубашку, туго забинтовали раненную ногу и отвели в лагерь. Как раз прогудел гудок на обед.

На вахте спросили:

— Что случилось?

— Промахнулся...

— Вы видели?

— Да, — ответил машинист.

Но ему не поверили.

— Членовредитель, — сказали, — в карцер!

Пожилого грузина потащили в карцер. Вскоре оттуда донеслись нечеловеческие крики... Там вместо лечения его избili. На следующий день дровокол умер.

Так я просуществовал на прииске «Нехай» год, потом его закрыли, а нас, ещё способных передвигаться, отправили на прииск «Большевик». Там не было больших гор, кругом — сопки, холмы и долины. Всё бело, только даль синее.

Чай-Урынскую болотистую долину в западном горно-промышленном районе по Магадано-Якутской дороге называли «долиной смерти». Здесь было много золота и лагерьей, в которых томились десятки тысяч заключенных.

Условия жизни и работы в «Большевике» были такими же, как и на других приисках: палатки и бараки, колючая проволока, сторожевые вышки, двенадцатичасовой рабочий день. На работу и с работы водили под конвоем, питание и теплую одежду и не спрашивай. Мы вечные труженики, и здесь готовы на любой труд, лишь бы поесть хлеба. И холод, и тяжелая работа — всё это было бы терпимо, если бы кормили досыта. Без хлеба нет ни жизни, ни работы.

Зимой очищали снег с площадок, долбили ямки для закладки аммонала, взрывали, а взорванный грунт убирали в сторону. Долбить мерзлую землю в плохой одежде и в рукавицах, сшитых из старых мешковин, — дело нелёгкое. Держать лом в руках более пяти минут невозможно, примерзает рука. Лом от грунта отскакивает со звоном, земля твёрдая, как камень. От людей идёт пар и тут же замерзает, превращается в иней и сосульки. Время от времени приходилось отрывать их руками, потому что нельзя было ничего увидеть. Летом грунт оттаивали на солнце, потом грузили на тачки и возили к бутаре. А зимой морозы доходили до шестидесяти восьми градусов по Цельсию, дули сильные ветры, трудно было устоять на одном месте. Люди замерзали на работе и по дороге в лагерь. Замерзших мы приносили с собой и складывали у ворот. Иногда умерших накапливался целый штабель. Потом их убирали, выбрасывали в котлован или в траншею, а сверху закидывали промытым грунтом и снегом. Многие обмораживались, оставались без рук и ног. Потом их отправляли в инвалидный лагерь. Я, чтобы не замерзнуть, старался постоянно двигаться, танцевать около ямки на месте, но это не всегда удавалось — не хватало сил. Промерзал до мозга костей и не раз обмораживал кончики пальцев, щеки и нос. Следы обморожений держались долго, было заметно это и тогда, когда я вернулся после освобождения на родину.

Говорят: «Голодной курице зерно снится», так и нам. И во сне, и наяву мы думали и говорили о еде и о том, как бы быстрее добраться в лагерь, согреться и уснуть. Мы превратились в животных, другие мысли и желания в голову не приходили. Охранникам нашим тоже от морозов доставалось, но они были накормлены, одеты в шубы и валенки, им можно было разводить костры.

Первая зима в «Большевике» запомнилась ещё одним диким случаем, кото-

рый произошел из-за куска хлеба. У дневального был блат с хлебобрезом, у него всегда на полочке лежал лишний паек. Когда все уснули, один изголодавшийся заключенный взял с полочки дневального кусок хлеба и стал есть. Недремящее око уголовников заметило это. К заключённому подошли трое, выволокли его на проход и сказали:

— А ну доедай!

Бедняга есть уже не мог, знал, что по неписаному закону уголовников его ожидает смерть. Его стали избивать. Сначала кулаками, а потом поленом. Он кричал, чтобы не убивали, потерял сознание. Садисты присели на корточки, не спеша покурели, затем взяли свою жертву и выбросили из барака на мороз. Люди, изнуренные работой, спали и не проснулись. Сколько он лежал на морозе — никто не знает. Только очнулся и пополз в санчасть. Там он пролежал очень долго: ему ампутировали ноги и пальцы на руках.

В один из солнечных дней лета 1944 года в нашем лагере началась непонятная суматоха. Все мы поголовно только рты разевали от удивления. С завидной быстротой были убраны сторожевые вышки, вместе со столбами исчезла колючая проволока, дороги к лагерю и его территорию тщательно подмели, где было грязновато, — засыпали опилками. Всех нас побрили, пропустили через баню, выдали новое обмундирование и чистую постель. В столовой появились настоящий суп с американской тушенкой и белый хлеб на двести граммов больше нормы. Лагерное начальство переделось в штатскую форму, нацепило галстуки. Охранников не стало, их заменили наши бригадиры.

На следующий день, часов в двенадцать, на Магадано-Якутской дороге появились чёрные лимузины. Подъехали к управлению прииска. Из машины вышли люди, оглядываются по сторонам. Их окружили приисковые и лагерные начальники...

Потом мы узнали, что приехала делегация из Америки во главе с вице-президентом Генри Уоллесом. Ее сопровождали сотрудники министерства иностранных дел и начальник «Дальстроя» Никишов. Американцы интересовались промывкой золота и его запасами, и тем, что за народ трудится на Колыме и в чём он нуждается.

Как только американская делегация уехала, всё стало по-прежнему. Лагерь опять окружили колючей проволокой, по углам появились вышки, прожектора и часовые с оружием. Охрана переделась в свою форму.

В лагере было немало не только умнейших людей, но и настоящих патриотов. Мы сами, выбиваясь из последних сил, работали и призывали к этому других. Как бы тяжело нам сейчас ни было, как бы мы ни голодали, понимали, что идет тяжелая война. А золото — это оружие и хлеб. Американцы не зря сюда приезжали. Золото было нужно нашей стране для победы над Германией.

Один молодой парень, не то латыш, не то эстонец, Санюнес, так рассказывал о себе:

«Жили мы на юге Западно-сибирского края. Занимались земледелием. Земли было много, трудились от зари до зари. Ежегодно собирали богатый урожай. Излишки хлеба сдавали государству. Скотины у нас тоже было много, без мяса мы не сидели, излишки его продавали на рынке. Жили богато, ни о чём другом не мечтали. В 1931 году, в начале весны, нам объявили, что мы должны переселиться жить в другой лесной район. Просили собраться и взять с собой всё, что надо для хозяйства: сельхозинвентарь, инструменты, топоры, пилы, продукты и семена для посева на новом месте. Скоро из города к нам приехал начальник со своим

отрядом и приказал запрягать лошадей, погрузить всё, что приготовили, на сани, скотину привязать к саням. Детей, стариков и старух, которые не могли идти пешком, посадили на сани, и мы двинулись с места. Дома и недвижимое имущество всё осталось. Тяжело было расставанье, мы попрощались со всем тем, что было дорогим и родным. Мы, взрослые, шли за подводой. Сопровождал нас всю дорогу отряд ГПУ. До Барабинска ехали ещё ничего, а дальше дорога была невыносимо плохая, вся разбита и в ухабах, сани закидывало то в одну сторону, то в другую. На обочине то и дело попадались разбитые подводы и дохлая скотина. Видно, по этой дороге до нас ехало немало спецпереселенцев. Доехали до посёлка Северный, дальше дороги летом нет, только в морозы можно было проехать по зимнику через Васюганское болото до Нарыма. Заехать и выехать отсюда летом невозможно, кругом места болотистые, несколько сот километров в длину и ширину. В середине, на островах и на окраинах, есть и сухая земля, где растут лиственные и хвойные деревья. Ехали мы около месяца, в селениях останавливались поесть, лошадей покормить и поспать. За Северным селений больше не встречалось. Мы отдыхали и спали на подводах. Наконец мы прибыли на место, где должны были обосноваться, жить и работать, осваивать этот Нарымский край.

Люди, прибывшие раньше нас, рубили, пилили лес, строили избушки-временки без окон и печей, заготавливали дрова. Кругом горели костры днём и ночью. Около костров сидели и грелись дети, старики, старухи, они же поддерживали огонь, женщины варили еду, мужики работали. Здесь родился новый безымянный посёлок спецпереселенцев. Некоторые крепкие семьи уже успели построить избушки и дома. А слабые — всё ещё ютились у костра, как цыгане. Мы остановились вдоль дороги слева, разожгли костры, распрягли лошадей и расположились вокруг костра, легли и заснули.

Неподалёку стоял один единственный барак. Там находились комендатура и контора лесоучастка. Сопровождающая охрана передала нас комендатуре. Комендант объяснил, что мы должны работать на этом лесоучастке, заготавливать лес и дрова. Кто будет работать — получит зарплату и паёк-питание. Летом обещал выделить земельный участок, его нужно будет раскорчевать, подготовить землю для посева зерна и овощей. Жилья там никакого не было, поэтому нужно было сооружать временки, а потом строить дома. Какой лес пилить и где строить, указывал десятник лесоучастка. Нам всё время напоминали, что мы спецпереселенцы. Без разрешения коменданта никто никуда уезжать и уходить не должен. Если кто нарушит это предписание, того будут судить.

На другой день с утра мы начали пилить и рубить лес, стали строить крупные избы без окон и крыши. Продукты на первое время у нас были. Но не было корма для лошадей и для остальной скотины. Поэтому животных пришлось резать и поедать, некоторые закалывали и лошадей.

Когда земля освободилась от снега и льда, стали корчевать кустарники и пни, копали и пахали землю, засеяли небольшие участки. Заготавливали сено для лошадей и скотины. Комаров было так много, что они солнце закрывали. Лицо и руки опухали от укусов. Жили мы как первобытные люди, одичали. Зимой работали в лесу, заготавливали строевой лес и дрова. Одновременно сами же на своих лошадях вывозили древесину по ледяной дороге в леспромхоз. За это получали небольшую зарплату и сухой паек-питание: муку, крупу и рыбу. Но пайка никогда никому не хватало. Летом каждый год корчевали кустарник и расширяли посевы, но урожая собирали очень мало, на пропитание его не хватало.



Посёлок постепенно рос, появились и настоящие дома с печкой, с окошками и крышей, а рядом росло кладбище. Многие болели и умирали. Жизнь не радовала. Старые люди уже не мечтали о лучшем, они смирились со своей судьбой. А мы, молодые, всё еще хотели учиться, получить специальность, работать и жить, как другие живут. Я сбежал, конечно, с ведома и благословения отца и матери. Родители и сестры мои остались там же.

Шёл я на лыжах один, напрямую по бездорожью, избегая встреч с людьми. Ночевал в лесу у костра, три ночи провёл в селении, а остальные где попало, спал не больше шести часов в день. На пятые сутки закончились все продукты, что у меня были, пришлось зайти в селение и попросить поесть. Я рассказал, что ушёл из ссылки, хочу добраться до города и устроиться на работу. На лицах людей было видно понимание и сочувствие. Они меня кормили досыта и давали еще хлеба в дорогу. На душе становилось легче.

В Новосибирск я приехал зайцем на товарном поезде вечером. Два дня ходил по городу, хотел поступить учиться или устроиться куда-нибудь работать. Везде требовалось свидетельство о рождении и документ о социальном положении. Их у меня не было, только одна подправленная справка, что я работал в леспромхозе. Что делать? По вечерам я вертелся на железнодорожном вокзале, там же и спал в углу возле печки. Однажды меня разбудила милиция. Спрашивают документы, я показал справку. Милиционер посмотрел, вернул ее, и повёл меня в отделение милиции. Меня посадили в КПЗ, где уже сидели человек десять, все без документов, как и я. Были там беглецы из лагеря, были приезжие из деревень и мелкие городские воришки-беспризорники.

Утром нас накормили и повели на стройплощадку копать котлован. Дали тачки, лопаты, показали куда возить. Работал я энергично, от людей не отставал. В конце рабочего дня я сбежал, боясь, что меня отправят обратно. Котлован копали недалеко от реки Оби. На другой стороне было видно высокую трубу завода комбайнов. На пароме перебрался на другой берег. Пришёл на завод, обратился в отдел кадров. Женщина средних лет прочитала мою справку о том, что я работал в леспромхозе, потом посмотрела на меня, спросила, сколько мне лет и где живут родители. Я ответил: мне 18 лет, родители живут и работают в леспромхозе. Она сказала: «Могу принять временно разнорабочим, а там видно будет». Написала записку старшему кочегару и направила меня в кочегарку.

В кочегарке я проработал больше года, возил и бросал в топку дрова и уголь. Работа была нелёгкая, но я был рад и этому. Получал зарплату и карточки на хлеб и на продовольствие. Стал жить как люди. Вначале я спал прямо в кочегарке, потом мне дали место в общежитии.

Скоро меня перевели работать на завод, вначале учеником, а через три месяца я уже работал самостоятельно слесарем на сборке комбайна. Моё фото висело на доске почета при входе на завод, я радовался. Получил паспорт. Женился. Мы с женой собирались во время отпуска съездить к родителям. Неожиданно арестовали директора и инженера, а через пару дней арестовали ещё несколько передовых рабочих, в том числе и меня. Обвинили нас во вредительстве на заводе. Нас судила тройка НКВД, всем дали по десять лет. Мы долго сидели в тюрьме, а летом 1937 года нас привезли в Находку, погрузили на корабль «Дальстрой» и привезли на Колыму.

Мы и здесь работали на совесть».

\* \* \*

В тот день наша бригада находилась далеко от лагеря. Работали и с нетерпением ждали, когда доставят обед. И вот прибыл заключенный с провизией. Но прежде, чем раздавать ее, поднялся на пригорок и громко, на всю низину, где мы возились с золотиносным грунтом, крикнул:

— Товарищи, война кончилась!

Он хотел ещё что-то сказать, но не успел: охранник, стоявший у бутары, поднял винтовку и выстрелил в него.

До сих пор не могу понять, за что был убит человек. Тот выстрел омрачил нам радость победы.

\* \* \*

После войны к нам прибыло новое пополнение. Это были военные: солдаты и офицеры, понюхавшие порошу на фронтах Великой Отечественной. Был среди них снайпер — Герой Советского Союза, уничтоживший полсотни фашистов. С их появлением резко изменились условия жизни: мягче стал режим, улучшилось питание, меньше стало издевательств, и мы стали смелее. Уголовники полетели из бригадиров и дневальных, что им, конечно, очень не понравилось. Между военными и уголовниками начались конфликты. Но фронтовики были непримиримы. Они требовали подчинения новым порядкам, прекращения издевательств над людьми. На работу выводили всех, кроме больных. Уголовники притихли, но не сдавались.

Бригадиром нашей бригады стал бывший майор Леонов. С ним я познакомился в первый же день его приезда. Родом он был с Урала, дошёл до Берлина. Но годом раньше попал в окружение, вышел из него с потерями, за что впоследствии был осужден на десять лет. Бригадир выделялся крупным телосложением, был дисциплинированным и требовательным, но никогда не повышал голос на людей. Не знаю, чем я мог ему понравиться, но меня он назначил дневальным. Скорее всего, потому, что его нары оказались рядом с моими.

Другую бригаду возглавил тоже бывший военный, и довольно строгий. Его дисциплина бандитам и убийцам пришлась не по сердцу. В одну из зимних ночей я проснулся и увидел: уголовники собрались возле железной печки и о чём-то совещаются. «Наверное, опять хлебрезку собираются грабить», — подумал я и повернулся на другой бок. А утром, когда прозвучал сигнал подъема, кто-то из заключенных испуганно вскрикнул: в проходе между нарами лежала отрубленная голова бригадира второй бригады.

После этого я перестал спать ночами — охранял нашего бригадира. Спал днём, когда все уходило на работу. Но сохранить жизнь Леонову, к сожалению, не смог.

Настало лето — начался сезон промывки золота. На месте работы для нас построили летнюю столовую. Кормить стали побригадно, строго по графику. Однажды наша бригада пришла на обед. Я заранее получил хлеб, раздал его товарищам. Оставил пайки Леонову и себе. Повар налил две чашки баланды, я взял их вместе с хлебом и поставил на стол. Мы с бригадиром принялись есть.

Все были заняты едой, и никто, в том числе и я, не заметил, как сзади к Леонову подкрался уголовник из другой бригады и ударил его кайлом по голове. Ложка выпала из руки бригадира; не вымолвив ни слова, он упал набок. Есть, конечно, я больше не мог.

Обед закончился. Один охранник побежал в лагерь. Через полчаса пришли трое с собакой, убийцу увели.

После похорон Леонова у нас дня три-четыре бригадира не было. Им временно назначили меня, а потом бригаду возглавил опять военный, молодой бывший лейтенант Михаил. Всех уголовников, осуждённых за убийство, из бригады убрали.

Вскоре я отказался быть дневальным.

У них своя работа: и печку натопить, и барак убрать, и бригаду накормить. В летнее время все дневальные, хлеборезчики, десятники и прочие «придурки», как называли уголовники всех подсобников, должны были сдавать ежедневно по 20-30 граммов золота. А где его было взять? В забое, где работает бригада, мыть не разрешали. Можно было работать только в старых отвалах и на речках. Повара, хлеборезчики и некоторые другие дневальные сдавали золото, не выходя из лагеря. Его им тайком приносили близкие друзья из забоя за миску поплотнее и погуще, за кусок хлеба сверх нормы.

Я неделю копался в старых отвалах, намыл золота граммов пятнадцать. Один раз пришёл вообще без единого грамма. На другой день пошёл вместе с бригадой в забой, украдкой намыл там золота, сдал его за два дня и отказался быть дневальным. Рисковать больше не хотел: за вынос золота из забоя и его хранение давали дополнительный срок, а годом раньше за это расстреливали.

Пролетело короткое лето, выпал снег. В сотне километров от лагеря, не доезжая до речки Нару, открылась новая угольная шахта. Из нас выбрали более ста человек, посадили на машины и отправили туда.

Приехали в небольшой шахтерский поселок Аркогола. В нём жили начальники разного ранга и вольнонаемные служащие. Для нас тоже нашлось место, но, разумеется, в бараках за колючей проволокой.

Две шахты находились рядом с поселком, третья — километрах в двенадцати. Работать нас определили во вторую, только что открытую.

В первый день спустились по лестнице в шахту человек тридцать-сорок, столпились возле бригадира. Горят керосиновые лампы, слабо освещая подземелье. Бригадир сказал:

— Вновь прибывшие, осваивайте новую профессию — шахтёрскую. А то небось «ожирели» на золоте.

Стали «осваивать». Рядом со мной трудились уже освоившиеся, бывшие жители Украины — учитель биологии Иван Антонюк, инженер-энергетик Александр Мижирицкий, главный зоотехник Наркомзема Украины Алексей Васильевич Якубовский, снабженец из Москвы Иван Сергеевич Зорин, один аспирант Львовского университета и один преподаватель из Владивостока.

«Новая профессия» ничем не отличалась от старой: тот же изнурительный ручной труд, которым занимались рабы в Древнем Египте и Древнем Риме. Постоянно находишься под землей, света солнечного не видишь, причем работа в шахте связана с опасностью. Так я работал в забое, долбил кайлом пласты каменного угля, нагружал вагонетки и откатывал в центральный бункер. Медленно текли дни девятого года моего заключения. Дожил я и до десятого. Появился проблеск надежды вернуться в родную Чувашию, увидеть жену, своих повзрослевших сыновей, пойти как прежде в школу, учить детей химии и биологии. Однако впереди был целый год, за это время всё могло случиться.

Нас перебросили на третью шахту. Однажды мы там чуть не погибли. В шахте скопился газ. Бригадир сообщил об этом начальству, сказал, что работать невоз-

можно, людей надо поднимать на гору. Но на его слова никто не среагировал. От газа наши головы раскалывались, мы с каждой минутой слабели, появилась сонливость, некоторые теряли сознание. Отравления были и раньше, но не такие. В тот день мы все лежали трупам.

Через некоторое время на лифте спустился начальник участка и врач.

— Встать! — закричал начальник.

Кое-кто пытался подняться, но не смог. Начальник пустил в ход ноги, но пинки тоже не помогли. Врач пощупал у некоторых пульс, сказал, что люди действительно сильно отравились и их надо поднимать на свежий воздух.

Начальство и само почувствовало присутствие газа и приказало подниматься по уклону, а само поскорее поднялось на лифте. Нас там было всего сорок человек. Двадцать пять заключённых поползли по уклону вверх, к жизни, в полной темноте, ощупывая почву руками. Лампы давно погасли от недостатка кислорода. Остальные пятнадцать не смогли самостоятельно подняться, их подняли на лифте.

Потом мы долго, как снопы, лежали на выходе из шахты, приходя в сознание. Нас рвало, глаза затянуло черной пеленой. Двое к жизни так и не вернулись.

Вскоре смерть еще раз заглянула мне в глаза.

Мы вшестером поднялись в лаву и по трое с каждой стороны стали спускаться только что взорванный подрывниками уголь. В это время затрещали стойки. Мы мгновенно поднялись повыше и плотно прижались к стенкам. В этот момент рухнул потолок, сверху полетели десятки тонн грунта. Лампы погасли. Кто-то застонал. Это, как потом выяснилось, одному нашему товарищу перебило ногу... Хорошо, что мы поднялись выше и встали по краям у стенки, иначе нас раздавило бы в лепешку. Потом показался луч света с одной стороны лавы, в душе затеплилась надежда на спасение.

Когда мы выползли наружу, нас окружили, радовались, что мы живы, обнимали, улыбались. Раненого тут же подняли на гору, а мы вновь встали на свои места и стали очищать лаву.

Несчастных случаев на шахте было много: то вагонетка срывалась с каната и летела вниз, калеча и убивая людей на своем пути, то потолок обваливался. Но самым страшным в шахте бывает взрыв газа и угольной пыли. Зимой сорок седьмого года произошел взрыв в Сырянской шахте. Много людей, человек сорок-ста, остались под землей. Взрыв произошёл в центральном стволе и закрыл вход в шахту. Спасательные работы велись целую неделю, и на месте взрыва живых людей уже не было, вместе с углем вытаскивали только трупы, да и то не всех, многие сгорели без следа. Остались в живых лишь те, кто работал в дальних лавах, но их было немного.

К этому времени Алексея Васильевича Якубовского перевели работать в химлабораторию, которая обслуживала все три шахты. Ему потребовался лаборант. Он знал, что я знаком с химией, через начальство договорился о моём переводе. До меня в лаборатории работал еще один молодой заключенный, Николай — бывший аспирант, сын профессора Львовского университета. В лагере мы жили с ним в одном бараке. Он сильно болел цингой, по всему телу у него были язвы, потом цинга перешла на внутренние органы. Его положили в лагерную больницу, я часто навещал его, но ему с каждым днём становилось всё хуже и хуже. Когда я пришел в больницу в очередной раз, его там уже не было. Сказали: «Ваш друг в морге, скончался от кровотечения». Я пошёл проститься с его прахом. На душе стало тяжело...

Это было в последний, десятый год отбывания срока в лагерях. В лаборатории жизнь моя стала иной. Алексей Васильевич познакомил меня с людьми, аппаратурой, реактивами и рассказал, какую работу я должен выполнять, познакомил и с библиотекой. Первые дни я стажировался, а потом начал работать самостоятельно.

Основная моя обязанность была — проводить химический анализ добываемого угля и контроль за газовым состоянием шахты. Один человек ежегодно доставлял нам пробу угля и газа со всех трёх шахт. Работали дружно, слаженно, и я был рад, что попал сюда. Сам Алексей Васильевич был душевным человеком, много рассказывал о себе, говорил, что его уже двенадцатый год ждет невеста, они переписываются. К Якубовскому приходили вольные люди, с некоторыми я познакомился. Первым, кто мне, «врагу народа», подал руку, был директор кирпичного завода Николай Иванович Соколов. На Колыму он приехал по собственному желанию. Вторым был начальник горно-спасательных работ Василий Матвеевич Иноземцев. Раньше он работал на Урале, ему предложили ехать на Колыму. Отказаться он побоялся, могли арестовать и отправить туда по этапу. Об этих людях, как и о Якубовском, у меня сохранились самые светлые воспоминания. Они оказывали мне большую моральную поддержку. Оба часто бывали в нашей лаборатории. Приходили обычно после работы, делились новостями. Открыто говорили о деспотизме Сталина, беспринципности и трусости исполнителей его воли. Об этом, кстати, в лагерях помалкивали даже очень смелые люди, зная, что за подобные рассуждения можно получить дополнительный срок.

«Сталин не марксист, безыдейный человек, — говорили они. — Он эгоист, властолюбец, бесчестный член партии, который воспользовался болезнью Ленина и остался у власти. А потом совсем распустился, превратился в настоящего политического бандита. Никакого контрреволюционного заговора, никаких контрреволюционных гнезд врагов народа в стране фактически не было. Это выдумка самого Сталина. Он убрал всех ленинцев и всех своих потенциальных преемников, чтобы навсегда остаться у власти. В лице «врагов народа» нашёл очень дешёвую рабочую силу. Настоящим врагом народа — он был сам».

Такой откровенно-убийственной характеристики «великому вождю» мне не приходилось слышать с тех пор, когда я находился в Канской тюрьме. Примерно так отзывались о «мудром» старые большевики, с которыми я сидел.

\* \* \*

У многих моих товарищей закончился срок заключения, но выехать на родину им не разрешали. Они продолжали работать в шахтах, жили уже не за колючей проволокой, а рядом с лагерем, в новых бараках. Некоторые строили для себя отдельные небольшие избушки.

Настал день и моего освобождения. Это было 12 ноября 1947 года. Отбыл я в заключении десять лет и пять суток. Пять суток — это срок моего нахождения в побеге. Но выехать домой мне тоже не разрешили. Почти десять месяцев я ещё работал и жил у Якубовского в лаборатории, но уже вольнонаемным. Один раз меня отправили в командировку в Магадан за реактивами для Аркагалинской химической лаборатории. В отделе снабжения Дальстроя я встретил еще одного земляка, родом он был из Ядрина. Также бывший заключенный. Теперь работал бухгалтером. Он рассказывал: пять лет отработал на приисках. Когда обморозил

пальцы и заболел, его активировали и направили на подсобную работу, привезли в инвалидный лагерь. «Страшно и странно было на нас тогда смотреть, — говорил он, — у кого руки нет, у кого ноги нет, передвигаются на самодельных костылях; у другого обе ноги ампутированы, передвигается на санках или на брезентовых подушках. У многих были обморожены уши, нос, щеки. Болели цингой, на теле язвы, люди гнили заживо и всё ещё работали на разных работах; кто покрепче, в лесу: пилили и рубили лес, брёвна таскали в лесопилку на себе и волоком по снегу. Другие трудились на лесопилке, пилили доски, сколачивали ящики.

Земляк отсидел десять лет, выехать на родину ему не разрешали. У него были обморожены пальцы на ногах и уши, пальцы ампутированы. Но он выжил и надеялся вернуться на материк. «На родине теперь у меня нет никого, — сказал он, — братья погибли на войне, отец и мать умерли, жена от меня отказалась, вышла замуж за другого».

Он мне показал дом, где жил Гаранин, и рассказал, что он имел связь с Москвой по прямому проводу и получал приказы от самого Сталина.

Рядом с нами жили вольнонаемные геологи, среди них была одна девушка. Скоро она вышла замуж за бывшего уголовника. Жили они вместе недолго. Муж разрешили выезд на родину. С работы оба рассчитались и уехали в Магадан. Там муж встретился с бывшими друзьями. Пригласили их к себе. Друзья выпили вина, стали играть в карты. Муж проиграл все деньги, а потом проиграл и жену. Ее раздели догола, положили на стол и стали разыгрывать в карты. Она от испуга опорожнилась, пошла вонь, тогда муж повёл её в уборную. Она оттуда убежала, они за ней. На её счастье, недалеко на углу стоял часовой милиционер. Он их задержал.

В Аркагалу она вернулась обратно одна. Всё это рассказала сама.

\* \* \*

Первое сентября 1948 года было солнечным, безветренным, и как нельзя лучше соответствовало моему радужному настроению: ведь я уезжал с Колымы домой. Взял узелок, пошёл на дорогу. Заведующий — Александр Михайлович Мижирицкий — проводил меня до моста, пожелал доброго пути и счастья. Я попрощался с товарищами, сел на попутку, добрался до райцентра Сусуман. Там встретил одного из наших конвоиров. Разговаривать с ним не хотелось, но он узнал меня и заговорил первым. Сказал, что приехал за разрешением выехать на родину, но ему отказали.

— Всех задерживают: и отбывших срок, и нас, — добавил он. — Берегись. Тебя могут вернуть с дороги. Многих возвращают. И мотают новый срок.

Радостный день стал меркнуть, сердце окутала тревога. Значит, правду в лагерях говорили, что все заключенные на Колыме должны стать покойниками, а покойникам обратной дороги нет — чтобы никто и никогда не узнал, что здесь творилось.

Немного успокоив себя тем, что судьбу не обойдешь и не объедешь, я пошёл на автостанцию. Автобусом благополучно доехал до Магадана. В 1938 году, когда я впервые его увидел, это был посёлок, а теперь стал городом. Там разыскал Василия Матвеевича Иноземцева, который в то время работал в управлении «Дальстрой», переночевал у него, а утром улетел в Хабаровск.

В Хабаровске я сел на поезд «Хабаровск — Москва» и поехал на родину.

В приоткрытое окно купе врывались свежие струи воздуха. На душе стало спокойнее. Может, пронесёт нелегкая!

На мне была старая рабочая одежда. Пассажиры в купе посматривали в мою сторону с подозрением и опаской, думая, видимо, что я из воров или уголовников. Один пожилой мужчина не выдержал, повернулся ко мне:

— Откуда и куда едете?

— Из Хабаровска, домой, — ответил я.

— Где работали в Хабаровске? — опять спросил пожилой пассажир.

— В Хабаровске я не работал. Я из Магадана.

Он сразу догадался, кто я такой.

— В заключении были?

— Да.

В разговор включился второй пассажир:

— Долго сидели?

— Десять лет.

— Вас в тридцать седьмом взяли? По пятьдесят восьмой?

— Да.

Пассажиры переглянулись, подозрение и недружелюбие сменились сочувствием. Немного погодя, они пригласили меня вместе поесть и предупредили, чтобы я на остановках не выходил из вагона.

В соседнем купе ехал старик еврей с семьей. Молодая жена, двое детей.

В Новосибирске они сошли с поезда. Вместе с ними в купе был молодой парень, но он ехал до Свердловска. Они с ним тепло и нежно попрощались. Когда поезд тронулся, дети махали руками и кричали: «Дядя Ваня, дядя Ваня!»

До Свердловска мы ехали вместе, познакомились. Парень мне рассказал, что в 1937 году арестовали брата этого старика и его жену, осталась девушка — племянница, старик её взял к себе. Жены у него в это время не было, детей тоже. Старика предложили ехать на Колыму. Взять девушку с собой не разрешили. Как быть? Они пошли в загс, зарегистрировались (дядя с племянницей) и вместе приехали на Колыму, как муж и жена. Он работал начальником прииска. Заключение Ивана взял к себе домработником. Жили они как одна семья. Девушка полюбила Ивана, Иван девушку. Дядя одобрил, благословил. Появились дети. Старик добился выезда себе и Ивану. Он ехал к матери на Урал, хотел забрать мать в Новосибирск. Старик говорил, что даст развод, Иван и племянница распишутся в ЗАГСе, и всё будет правильно. Дети Ивана не знали слова папа, а старика называли дедушкой.

После Свердловска я спал более спокойно, но всё равно на больших станциях, таких, как Красноуфимск, Янаул, Сарапул, просыпался и с тревогой смотрел в окно.

Когда позади осталась Казань, я не отходил от окна. Смотрел, любясь на знакомые, до боли родные места, и слезы невольно выступали на глазах. Не доезжая Канаша, я вышел в тамбур и не мог дожидаться, когда кончится эта длинная-длинная дорога. Приближаясь к станции, паровоз дал гудок. По моей спине пробежали мурашки, сердце сжалось в комок...

Я ступил на родную землю, на сердце были радость и боль.

\* \* \*

Было раннее сентябрьское утро. Я шёл по деревне Кармамаево, что в двух километрах от Канаша, где жила моя семья. На дорогах грязь и вода, видимо, накануне прошёл сильный дождь.

Тишина. Все ещё спали. Зелёная трава серебрилась. Ивы, слегка покачиваясь от ветерка, роняли с листьев капельки дождя.

Но вот, почуяв меня, в одном дворе залаяла собака. Её сразу поддержала другая, за ней третья. Я был рад их разноголосому лаю. Это были не те собаки, которые долгие годы охраняли, а иной раз грызли меня. Это были свои, домашние, которых я с удовольствием бы приласкал.

У одного дома встретила женщина, набиравшая воду из колодца. Я поздоровался, спросил, где живет учительница Анастасия Андреевна. Женщина объяснила, как найти её дом.

Подхожу к дому. Стучу в дверь. Сердце колотится так, что готово выскочить из груди.

Открывается дверь. Появляется жена, моя любимая Настя. Несколько секунд смотрим друг на друга.

— Здравствуй, Настя, — негромко сказал я. — Можно войти?

— Илюша, это ты! — вскрикнула женщина и, громко зарыдав, бросилась ко мне. У меня тоже потекли слезы...

Услышав рыдания матери, выбежали дети — мои сыновья Лёва и Гера. Я их, повзрослевших, конечно, не узнал, как не узнавали и они меня. Ведь столько лет прошло!

Я обнял, поцеловал сыновей, и все мы пошли в дом.

Жена рассказала, что после моего ареста её сняли с работы, оставили без средств к существованию. Корову конфисковали и передали в интернат при школе. Сын старший учился во втором классе, учительница сказала ему: «Ты сын врага народа!». Хотела снять пионерский галстук, но он убежал из школы.

Люди боялись пускать её на квартиру, потому что их могли арестовать за сочувствие к семье врага народа. В сельсовете ей и жене директора школы сказали: «На краю деревни есть заброшенный дом, никто там не живёт — идите, ремонтируйте и живите». Одну половину дома заняла жена директора Анна Шотырко с семьей, вторую половину заняла моя жена с двумя детьми. Окна были разбиты, Настя их наглухо заколотила тряпками и досками, только в одном месте, где сохранилось стекло, оставался просвет, через который проникали солнечные лучи. Печка была полуразрушенная и сильно дымила, с большим трудом жена её отремонтировала.

Дров из школы теперь не давали. Недалеко, на берегу речки, росли ивы и кустарник, она их пилила ножовкой, рубила и топила ими печку. Жену предупредили, чтобы она никуда не выезжала из района. Прошёл слух, что жён арестованных собираются отправить в ссылку, а детей отдадут в детдом, ждут только указания сверху. Прошло много дней, я не возвращался, жена осталась без средств к существованию. Тогда она решила поехать с жалобой в Верховный Совет. Но она не нашла человека, с кем можно было оставить детей. Поехала в соседнюю деревню, уговорила одну девушку остаться на время с сыновьями: кормить, следить за ними. Оставила им продуктов, а сама тайком выехала в Москву. Конечно, она думала в Москве пробыть недолго, но не тут-то было. Очень много было людей, приехавших с жалобами со всех концов Советского Союза, через неделю только её записали на очередь. На приём к секретарю Президиума Верховного Совета Горкину она попала только через две недели. Рассказала, что арестовали ни в чём не повинного честного учителя, её мужа, саму её сняли с работы, лишили средств к существованию. Как она должна жить? Дома двое голодных детей осталось, их нужно кормить. Она сама росла сиротой в детдоме, родители её умерли в 1921 голодном году.



Ее выслушали, потом попросили вернуться домой, сказали, что напишут в район, чтобы её восстановили на работе. В отношении мужа сказали обратиться в Красноярский краевой суд.

Жена вернулась из Москвы и ужаснулась: дети дома одни — сидят голодные, продукты кончились, а нянька ушла, оставила мальчиков без присмотра. Настя долго каялась, зачем оставила детей, надо было взять их с собой и не возвращаться, остаться на родине. Но она боялась потерять сыновей в дороге, в том случае, если бы её арестовали.

Через несколько дней жену вызвали в район и дали направление на работу в Новобрянскую начальную школу. Проработала она там до конца учебного года, потом выехала на родину в Чувашию. Остальных женщин-учителей, мужа которых были арестованы, отправили в ссылку, а детей их передали в детдом.

Моему старшему сыну Лёве было тогда восемь лет, а младшему Гере всего один год, он ещё не ходил, только ползал, и не говорил, а всё больше плакал. Когда я вернулся, Лёве исполнилось девятнадцать лет. Я спрашивал его, как они жили в отсутствие матери, и он мне рассказал: «Не было матери, но была няня, были продукты и тепло, страшно не было. Но вот няня ушла, кончились дрова, продукты тоже: ничего не осталось, кроме мёрзлой картошки». Напротив дома росла низкая ива, сын ножовкой отпиливал сучки, рубил их, заносил в дом и топил железную печку. Прикладывали мёрзлую картошку к раскаленной печке, и ели её полуиспеченную. Гера еще не мог самостоятельно есть, Лева засовывал ему картошку в рот, и он её сосал. Однажды ночью к дому подъехали сани, гружённые сухими дровами. В избу вошёл незнакомый мужчина и сказал: «Дров вам привез, топите!» — и ушёл. Люди боялись встречи с ними, как бы не быть самим арестованными. Даже соседские дети к ним играть не приходили.

Рядом жила одна бедная нерусская семья. Был у них верблюд, видно, его доили. Женщина изредка приносила верблюжьего молока и картошку. Возможно, это и помогло мальчишкам выжить. Навсегда Лёве запомнился приезд матери из Москвы. Приехала она рано утром, застав сыновей сидящими около печки, долго плакала. Вместе с ней плакали и дети. Из сумки мать вытащила хлеб и ещё что-то вкусное, они сели за стол и молча сладко поели. Потом они жили в Новобрянке. Случилось землетрясение. Вдруг задрожала земля, разрушилась труба и печка, посыпались кирпичи, на пол попадали вещи, но дом уцелел, и все остались живы.

Так я встретился со своей семьей после одиннадцати лет разлуки. Дети выросли, старший сын учился в институте, а младший в шестом классе. Супруга сильно изменилась, постарела, но я радовался, что вернулся к своей семье живой.

Встреча была не так тепла, как хотелось мне, и как просила моя измученная душа. Я ждал от них сочувствия моему страданию, внимания и душевного тепла. Все одиннадцать лет вдали от родины жена и дети были всегда в моем сердце. Как сегодня помню, когда на меня направили винтовку — я среди белого дня видел, как передо мною стояли мои мальчики. Это было минутной галлюцинацией.

Я хотел бы, чтобы мои сыновья и внуки знали, что наши мучения, страдания и боль — были болью всего народа. Но я не видел радости от встречи и не почувствовал душевной близости.

Через пару дней я пошёл устраиваться на работу в Канашский роно. Там сидел мой бывший ученик. Он узнал меня. Посмотрел «волчий» паспорт, который мне выдали, и сказал, как отрезал:

— Нет, вас принять не могу!

Подобный ответ я мог услышать и в других местах. На мне было несмыслимое клеймо: враг народа.

Я решил съездить в Шумерлю, где жили и трудились рабочими на комбинате автофургонов два моих брата-фронтовика, а затем — в родное село Ковали к двоюродному брату, председателю колхоза. Поговорил с ними и понял, что в Чувашии всё ещё беспокойно. Людей, вернувшихся с Колымы, игнорируют, хуже того — отправляют обратно с новым сроком. Поэтому, прожив на родной земле несколько дней, я уехал на Северный Урал. Судьба забросила меня в управление «Волчанскуголь». Хотел устроиться лаборантом — не получилось. Меня временно поставили начальником отдела технического контроля. Я вызвал к себе жену. Она приехала с младшим сыном, а старший остался на родине: он был уже женат и учился в Чебоксарском пединституте. Жена устроилась в поселковую школу по специальности. А вскоре и я вернулся к учительской работе. Было это очень неожиданно и памятно для меня. Как-то я пошёл из Волчанска в Краснотурьинск по своим делам. На полдороге меня догнала легковая машина. Остановилась. Сидящий рядом с водителем мужчина лет пятидесяти открыл дверцу и пригласил:

— Садитесь. До города ещё далеко.

Я сел, машина поехала дальше. По дороге разговорились.

— На шахте работаете? — спросил он.

— Да.

— А откуда приехали?

— Издалека. С Колымы.

Мужчина повернулся ко мне.

— В заключении были? За что?

— Ни за что. По пятьдесят восьмой.

Мужчина помолчал с минуту, потом опять спрашивает:

— А кем до ареста работали?

— Учителем.

Приехали в город. Я вышел, поблагодарил за помощь. Мужчина сказал:

— Вот что, когда сделаете свои дела, зайдите ко мне.

— А куда... к вам?

— В горисполком.

— К председателю, — добавил до сих пор молчаливый водитель.

Через два часа я был в кабинете председателя Краснотурьинского горисполкома. Он пригласил к себе заведующую отделом народного образования — невысокую миловидную женщину.

— Знакомьтесь, Тамара Николаевна, — сказал председатель Михаил Николаевич Хакин. — Перед вами учитель. Окончил институт. А работает на шахте! Что у нас делается, а? Сейчас же назначайте его по специальности.

После короткой беседы заведующая горно Суходоева направила меня учителем биологии в школу номер двадцать три, которая находилась в поселке Сосновка. А через три дня состоялась учительская конференция. На ней я стал директором школы.

Всё вроде бы складывалось хорошо: я работал директором школы, жил с семьёй, обзавелся новыми друзьями. Но все-таки спокойной нормальной человеческой жизнью не жилось. Однажды в школе выхожу из класса и вижу в коридоре работников НКВД, капитана Хитродумова и лейтенанта Кумирова. Внутри у меня все затрепетало, думал, пришли меня забирать.

Подошёл к ним, поздоровался. Руку оба подали.

— Пришли к вам в гости, — сказал Хитродумов.

— Пожалуйста. Гостям всегда рады.

Прошли в учительскую. Посидели, поговорили с учителями. Потом мы остались втроем. Ну, думаю, сейчас перейдут к «делу». А они ничего, шутят, смеются.

В учительскую вошла жена. Побледнела, увидев, с кем я сижу. Я как можно спокойнее сказал:

— Анастасия Андреевна, ты, кажется, сегодня пироги пекла. К нам гости пришли.

Жена опомнилась.

— Да, да. Идёмте! У меня и шампанское есть.

Они зашли в комнату. Жена накрыла на стол. Выпили шампанского, поели пирогов, побеседовали немного. Гости поблагодарили нас и ушли.

Спустя некоторое время жена Хитродумова пригласила нас на свой день рождения. Встретили нас хорошо. А перед уходом Хитродумов спросил наедине:

— Илья Федорович, вы по какой статье сидели?

Я ответил. Он постоял в задумчивости и сказал:

— Да, перегнули тогда так, что дальше некуда. Были, возможно, и враги, и элементы, недовольные Советской властью. А тут — всех под одну гребёнку. Даже наших сотрудников очень много погубили. Мы делаем то, что нам приказывают сверху, а потом и нас наказывают. Не пойму, зачем и кому это надо было.

На душе со временем становилось легче. Однако свою неполноправность и отчужденность людей я чувствовал до 1956 года, до дня реабилитации. Ежегодно я ездил в Свердловск по школьным делам, был там на курсах повышения квалификации директоров школ. И всегда чувствовал себя беспокойно. В поездах часто проверяли паспорта, и каждый раз мне казалось, что вот сейчас заберут. Ведь пуганая ворона и куста боится. В гостиницу с «волчьим» паспортом не пускали. Однажды мне там сказали: идите к начальнику милиции, принесите разрешение.

У кабинета начальника сидели трое с такими же паспортами. Один зашел на прием, а через пять минут его арестовали. Я понял, что заходить мне нельзя, и тут же ушёл на вокзал. На вокзале тоже было опасно, кругом ходили патрули. Поздно вечером я вернулся в город. Разыскал Дом учителя, там и переночевал, но опять было тревожно. Ночью была проверка паспортов. Документы приезжих были у дежурного, а я свой паспорт держал при себе. Думал всё, задержат, но нет: как-то быстро проверили и ушли.

Через два года я поехал в Красноярск получать диплом. В институте мне сказали, что во время войны архив сгорел. Диплом я так и не получил. Побывал в школе, где работал до ареста, никого из старых учителей не встретил. Мне сообщили, что из учителей, арестованных в 1937 году, никто не вернулся.

В 1956 году я получил справку от Красноярского краевого суда за № 44-69 о реабилитации. В ней было сказано, что дело о моём обвинении пересмотрено Президиумом Красноярского Краевого суда двенадцатого мая 1956 года. Постановление тройки НКВД Красноярского края от двадцать первого февраля тридцать восьмого года отменено, и дело производством прекращено. Справка была подписана председателем Красноярского краевого суда Соловьёвым.

Мне выдали новый паспорт, и только тогда я стал полноправным гражданином Советского Союза.

В пятьдесят восьмом году я вернулся на родину. Здесь была ещё жива моя мама, два брата, участники войны, и две сестры. Отец умер в сорок седьмом, умер

и брат, их я уже не застал. На родине я проработал ещё десять лет учителем, потом вышел на пенсию. Старший сын тоже преподаватель, окончил институт, младший сын окончил военное училище.

В семьдесят четвёртом году в возрасте шестидесяти семи лет умерла от сердечного приступа моя жена Анастасия Андреевна. Остались мы вдвоём с внуком Володей, мама его умерла, когда ему было всего десять месяцев, растили и воспитывали его мы с женой. Через три месяца после похорон жены я сам перенёс инфаркт, с тех пор болею сердцем.

\* \* \*

Иногда меня спрашивали: Илья Федорович, как вы в таких тяжелейших условиях Севера сумели выжить? Я всегда отвечал так: я был молод и здоров, мне было двадцать восемь лет. Как бы ни было трудно и тяжело, я никогда не падал духом, нигде не опускался низко. Работал честно, сколько хватало сил. Стремился во что бы то ни стало терпеть и выжить. Верил, что беззаконие не может долго продолжаться, придёт время, и правда восторжествует!

Да, я много страдал, многое потерял в жизни, не знал радости и покоя. Но, несмотря на это, где бы я ни работал, какое бы место ни занимал, я всегда был честным и верным своему долгу и отечеству.

Миллионы сталинских жертв давно истлели в земле, но среди оставшихся живых боль не утихает и сегодня.

\* \* \*

Это весь рассказ Ильи Фёдоровича Таратина. Больше я никогда не видел этого человека. Но память о нём живёт в моём сердце.